
СЕРГЕЙ СОРОКИН
ТОМ 11
КОМАНДИР
БОМБАРДИРОВЩИКА

Командир бомбардировщика

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 11

«Автор»
2026

Сорокин С.

Командир бомбардировщика - 11 / С. Сорокин — «Автор», 2026 — (Командир бомбардировщика)

Пятьдесят пять лет, тридцать лет в небе и последний боевой вылет. Подбитый ракетой, командир стратегического бомбардировщика Павел Иванов спасает экипаж и направляет горящую машину в цель. Но вместо смерти приходит новое падение — уже в чужом молодом теле, за штурвалом израненного самолёта над Балтикой августа 1941 года.У Павла есть опыт лётчика XXI века, но нет ни привычных приборов, ни надёжной техники, ни права объяснить, откуда он знает будущее этой войны. Вокруг — отступление, разбитые машины, люди на пределе сил и экипаж, который ещё только должен поверить своему командиру. А впереди — приказ, звучащий почти безумием: поднять тяжёлый бомбардировщик и идти на Берлин.Чтобы выжить, Павлу придётся заново освоить старое небо, вернуть в строй обречённую машину и научиться принимать решения, где цена ошибки — четыре жизни. Здесь не будет лёгких чудес. Только мастерство, ответственность и железная воля человека, который уже однажды выбрал не себя.

© Сорокин С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 14
Глава 3 23
Глава 4 32
Глава 5 39
Глава 6 46
Конец ознакомительного фрагмента. 48

Сергей Сорокин
Командир бомбардировщика - 11

Глава 1



— И вас не...

— А что меня? — говорит Литвинов. — Я не струсил, я ошибся. Из того разбора, между прочим, у нас и пошло правило про два признака. Время у Юсупова было только первым сомнением. Решили дело ответвление, вода и дорога; так мы и проверяем место.

Юсупов поднимает голову.

— Это из-за вас?

— Это из-за меня, — говорит Литвинов. — Так что ты вчера, считай, моей ошибкой пользовался.

И тут молодой, тот самый, который начал про счастливую машину, спрашивает:

— А можно вопрос?

— Спрашивай.

— Вот вы говорите, четыре минуты десять от колокольни. А если облачность и колокольни не видно?

Юсупов оживает.

— Хороший вопрос. Тогда берёшь...

Дальше они говорят час.

Про запасные ориентиры, про то, как считать по времени от берега, про то, что делать, если снесло.

Я сижу и слушаю и понимаю, что произошла та вещь, которую нельзя устроить приказом.

Они перестали спрашивать про счастливый номер и начали спрашивать про работу.

Уходя, я слышу за спиной, как молодой говорит Юсупову:

— Слушай, а можно я к тебе завтра подойду? У меня по этому ориентированию...

— Подходи.

И Юсупов говорит это тем особенным голосом, каким человек первый раз в жизни говорит «подходи» кому-то младше.

Тимка приходит ко мне на второе утро с чужой бухтой кабеля и с очень довольным лицом.

— Товарищ майор, смотрите.

— Смотрю.

Он показывает.

На кабелях у них надеты цветные муфточки — резиновые колечки, красные, жёлтые, синие. По цвету сразу понятно, что куда.

— Красиво, — говорю я.

— Не красиво, а быстро. — Тимка тараторит. — Я вчера смотрел, как их дежурный работал. У него оборвалось, он подошёл, посмотрел — и сразу за нужный. А наш бы искал минут пять, потому что у нас все серые.

— Берите.

— Уже взял. Оганесян дал целую банку.

— Тогда чего вы ко мне пришли?

— Потому что не работает, — говорит Тимка, и всё его довольство куда-то девается.

Мы идём смотреть.

На стоянке к вечеру Тимка надел муфточки на кабели нашего узла связи, и днём это выглядело прекрасно.

А ночью выяснилось две вещи.

— Первая, — говорит Тимка. — Вот смотрите.

Он присаживается и включает фонарь, и в узком луче я вижу жёлтую муфту, которая горит, как лампочка.

— Она светлая, — говорит Тимка. — Она с трёх метров видна, если чуть посветить. У нас же затемнение. Я тут развесил ёлочные игрушки.

— Вторая?

Тимка мнётся.

— Вторая личная.

— Говори.

— Я красный от чёрного при слабом свете плохо различаю, — говорит он. — Не то что не вижу. Вижу, но не сразу. Мне надо ближе поднести и подержать.

Я молчу.

Это у него с сорок первого, с той истории на Эзеле, и это не проходит и не пройдёт. Он про это говорит примерно раз в полгода, и каждый раз с таким лицом, будто признаётся в воровстве.

— Ну и что? — говорю я.

— Что «ну и что»?

— Ну и что дальше, Журавлёв? Вы мне сообщили факт. Вы теперь что предлагаете?

Он моргает.

— Так это ж... это ж мой недостаток.

— Это ваше условие работы, — говорю я. — Мне от вас нужно не покаяние, а способ. У нас в полку не вы один с таким глазом, просто остальные молчат. Если вы сделаете так, чтоб работало для вас, оно заработает для всех.

Тимка думает минуту.

— Тогда мне надо, чтоб не только цвет.

— А что ещё?

— Форма, — говорит он медленно. — Чтоб на ощупь. Если я в темноте пощупал и понял — мне свет не нужен вообще.

— Делайте.

Делают они с Оганесяном, местным связистом, и делают полдня.

Получается вот что.

Муфточки остаются — цвет никто не отменяет, днём он экономит время.

Но на каждой муфте теперь насечки: одна, две, три. Насечки делают ножом, глубоко, чтоб чувствовались в перчатке.

— Одна — питание, две — антенна, три — телефон, — объясняет Тимка. — Запомнить можно.

Дальше — подпись.

У самого соединения, на кусочке лейкопластыря, пишут карандашом, что это за конец и куда идёт. Мелко. Читается с двадцати сантиметров, при закрытом фонаре.

И, наконец, главное.

Всё наружное закрывают.

Муфты уходят под кусок старого рукава от противогаза, надетый сверху и притянутый шпагатом. Снаружи — серая резина, и ничего не видно.

— А как же тогда днём быстро? — спрашиваю.

— А днём сдвинул и посмотрел, — говорит Тимка. — Две секунды.

Проверяют ночью, и проверяют правильно: на дежурном, который во всём этом не участвовал.

Ефрейтор Найдёнов, восемнадцать лет, в полку с апреля, страшно боится Тимку.

— Найдёнов. Обрыв на телефонной линии. Найти конец и доложить.

— Есть.

Он идёт к щиту и нащупывает муфту под рукавом, не снимая перчатки.

— Три насечки. Телефон.

Только после этого включает разрешённый фонарь под колпаком и сверяет подпись у соединения.

— Уверен?

Найдёнов снова проводит пальцами в перчатке по отдельной муфте; изоляцию самого кабеля насечками не трогали.

— Три, — говорит он. — Точно три.

— Хорошо. Теперь верни всё, как было.

Найдёнов надвигает рукав, затягивает шпагат, гасит фонарь.

Я смотрю на щит.

Темно. Ни одного светлого пятна.

— Годится, — говорю я.

— Товарищ майор, — говорит Тимка. — Разрешите, я это на все машины и на все узлы?

— Разрешаю. Только одно условие.

— Какое?

— Опишите. Коротко, на полстраницы, с рисунком. Чтоб в следующем полку не пришлось второй раз изобретать.

Федю я нахожу на учебной турели за складом, и нахожу в компании своего ученика.

Учебную установку Федя привёз с наземной группой разобранной. Он устроил её ещё в апреле: настоящая установка, снятая со списанной машины, закреплённая на устойчивом деревянном основании, и перед ней на тросе ездит фанерный силуэт, который тянут за верёвку двое.

Сейчас силуэт не ездит, потому что тянуть некому: все на стоянках.

Федя сидит на ящике и вертит в руках новые очки.

Очки хорошие: со стеклом, в резиновой оправе, с широкой лентой. Такие у нас были не у всех и не всегда, а эти — из запасов Сухорукова, отданные по бартеру за помощь с мотором.

— Примерил? — спрашиваю.

— Примерил.

— Ну?

— Хорошие, — говорит Федя. — Не жмут, не запотевают.

— Так чего сидишь как в воду опущенный?

Федя усмехается.

— Да мне Назаров с утра шутит, — говорит он. — Говорит: теперь ты в очках, как Журавлёв, будешь лучше видеть.

— А ты?

— А я ему объяснил, что это защитные. Что они от гильзы и от пороха, а не от близорукости. Он вроде понял.

— А ты обиделся.

— Немножко, — признаёт Федя. — Глупо.

Он надевает очки на лоб.

— Товарищ майор, я вот что хотел. Разрешите я сегодня сам покажу.

Я смотрю на него.

Мы с ним про это разговариваем не первый месяц.

Плечо у Феди с сорок первого. Оно зажило — по-настоящему зажило, не как в первый год, когда каждое движение отзывалось. С зимы он делает то, что ему назначили, и делает добросовестно, и я это знаю, потому что проверял.

Но между «зажило» и «работает как раньше» лежит расстояние, и Федя на это расстояние поглядывает уже год.

— Что показать?

— Сопровождение. Три минуты. Не больше.

— А потом?

— А потом Назаров.

— Точно потом Назаров?

— Товарищ майор.

— Я спрашиваю, потому что знаю тебя, — говорю я. — Ты сейчас три минуты отработаешь, у тебя ничего не заболит, и ты решишь, что можно сорок.

Федя молчит.

— Может, и решу, — говорит он честно.

— Вот поэтому я и спрашиваю.

— Тогда так, — говорит Федя. — Назаров, засекай. Три минуты, и ты меня снимаешь, даже если я скажу «ещё чуть-чуть».

Назаров — старший сержант, двадцать лет, здоровый как жеребец, с руками до колен — расплывается в улыбке.

— С удовольствием, товарищ старшина.

— Не с удовольствием, а по часам.

— По часам с удовольствием.

Верёвку тянут двое случайно пойманных оружейников.

Федя садится в турель.

Я смотрю, как он садится, и вижу то, чего не видел два года: он садится нормально. Не заводит правую руку через силу, не подставляет корпус, не перехватывает левой то, что должен брать правой.

Просто садится и берётся.

— Пошла.

Силуэт едет.

Федя ведёт его — плавно, с той короткой упреждающей задержкой, которая отличает человека, стрелявшего по-настоящему, от человека, учившегося по наставлению.

— Быстрее давай! — кричит он оружейникам.

Силуэт едет быстрее.

Турель разворачивается, идёт за ним, останавливается, идёт обратно.

— Минута, — говорит Назаров.

Федя работает.

Я стою и смотрю на его лицо, потому что лицо в такие моменты говорит больше, чем доклад.

И на лице у Феди происходит вот что: сначала сосредоточенность, потом — примерно на середине второй минуты — удивление.

Он ждал, что заболит.

Он уже год каждый раз ждёт, что заболит, и заранее чуть-чуть напрягается в ожидании, и от этого напряжения болит быстрее.

А сегодня не болит.

— Две, — говорит Назаров.

Федя разворачивает турель в дальний сектор — туда, куда ему раньше было хуже всего, — и доводит силуэт до конца троса.

— Три. Всё, товарищ старшина.

— Погоди.

— Три минуты, товарищ старшина. Вы сами сказали.

— Назаров, я говорю погоди.

— А я говорю слезайте, — говорит Назаров.

И, что характерно, Федя слезает.

Слезает и стоит, потирая плечо — не потому, что болит, а по привычке.

— Ну? — спрашиваю.

— Не болит, — говорит он.

— Совсем?

— Совсем. — Он вращает рукой. — Тянет чуть-чуть в верхней точке, и всё.

— Значит, завтра сорок минут?

Федя смотрит на меня и смеётся.

— Не куплюсь, товарищ майор.

— Проверяю.

— Не куплюсь, — повторяет он. — Я себе знаете что сказал? Что если сегодня три минуты не заболело, то это три минуты, а не сорок. Я через неделю пять попробую.

— Через неделю?

— Через неделю. Мне врач так расписал, и я к нему привык.

Показ ведёт Назаров, и ведёт его полтора часа, и группа из восьми молодых стрелков слушает его, разинув рот.

Федя сидит на ящике сбоку и смотрит.

Один раз он пытается вмешаться.

— Назаров, ты им скажи про...

— Товарищ старшина, — говорит Назаров, не оборачиваясь. — Я скажу. Через пять минут.

— Так им сейчас надо.

— Им сейчас не надо, — говорит Назаров. — Вы им сейчас третий признак дадите, а они первые два ещё не уложили.

Федя открывает рот.

Закрывает.

Смотрит на меня.

Я делаю каменное лицо.

Вечером, когда мы едим оставленную кухней горячую порцию — Бабенко, наученный, теперь всегда оставляет тем, кто работает допоздна, — Федя всё-таки не выдерживает.

— Ты с чего это меня одёрнул?

— А вы с чего лезете? — говорит Назаров с полным ртом.

— Я не лезу, я дополняю.

— Вы дополняете так, что у них в голове каша. — Назаров отставляет миску. — Товарищ старшина, вы им в один заход три вещи говорите. Они берут первую, вторую забывают, а третью потом путают со второй.

— Я всегда так учил.

— И я так учился, — говорит Назаров. — И полгода потом путал сектора, помните? Вы меня тогда чуть не выгнали.

Федя задумывается.

— Помню, — говорит он.

— Ну вот. Я тогда думал, что я дурак. А я не дурак, мне просто много сразу давали.

Федя поворачивается ко мне.

— Товарищ майор, он мне сейчас сказал, что я плохо учу.

— Он вам сказал, что вы учите быстро, — говорю я. — Это разные вещи.

— И что мне делать?

— Слушать его, — говорю я. — Вы его этому научили. Теперь терпите.

Федя смотрит на Назарова.

Назаров доедает и смотрит на Федю с некоторым опасением: осознал, кажется, что наговорил.

И Федя вдруг фыркает.

— Ладно, — говорит он. — Ладно. По одному признаку за раз.

— И паузу делайте, — говорит осмелевший Назаров. — Вы паузу не делаете. Вы сказали и сразу дальше, а им подумать надо.

— Ещё чего.

— Сами же учили: дай человеку три секунды.

— Это я про доклад учил!

— А это то же самое.

И они начинают спорить, а я сижу с миской и думаю, что вот эта сцена — двадцатидвухлетний старшина и двадцатилетний сержант, спорящие о методике преподавания за холодеющей кашей, — стоит, пожалуй, дороже, чем вся вчерашняя Кубань.

Потому что Кубань была один раз, а эти двое будут учить людей ещё три года.

Участники операции собираются за двое суток; остальные шесть готовых машин оставались на базе и продолжали текущую службу.

Расчёт был на трое, и трое я честно доложил в штаб, а получилось двое, и я знаю почему: потому что группы не ждали общей команды, а перелетали по готовности, как только их машины проходили осмотр.

Первым уходит Зорин с Тимашевской — у него всё было цело изначально.

Потом Строев, у которого поменяли колесо.

Потом две абинские.

Мы уходим последними, потому что у Гаевого плоскость, и её латают полдня.

Перед уходом на исходе вторых суток я обхожу поле и проверяю, что мы никому ничего не должны.

Это старая привычка, и она из другой жизни: уходя с чужого аэродрома, оставь его в состоянии не хуже, чем взял.

— Ключи?

— Вернули, — говорит Плешаков. — Все.

— На щит повесили?

— Сам вешал, — говорит Плешаков. — Чтоб дыр не осталось.

— Чего брали ещё?

— Брали сварочный, брали тиски, брали две струбцины. Всё вернул, Гуляев проверил и расписался.

— Он расписался?

— Я попросил, — говорит Плешаков. — Чтоб потом через месяц не было разговоров, что авиация приехала и увезла.

Тележку увязывают на транспорт.

Она едет в кузове полуторки вместе с наземным имуществом, и её увязывают последней, поверх ящиков, и Кириченко лично проверяет верёвки три раза.

— Кириченко.

— Я.

— Не оторвётся.

— Товарищ майор, вы её видели? Она ж кривая. Она если поедет, то всё побьёт.

— Она кривая, но она наша, — говорю я его же словами двухдневной давности.

Кириченко смеётся.

Тимкины метки на своих станциях сверяют перед вылетом.

Это отдельная работа, и она идёт медленно, потому что метки надо не просто надеть, а согласовать: чтобы на всех машинах одна насечка означала одно и то же.

Тимка ходит с тетрадкой и лично проверяет каждую.

— Кожин! У тебя две насечки на питании.

— Так я думал...

— Ты не думал, ты по цвету сделал. Две — антенна. Переделывай.

— Да какая разница...

— Разница такая, — говорит Тимка, — что ты сегодня на своей машине, а завтра тебя посадят на чужую, и ты в темноте нащупаешь две и решишь, что это питание, и полезешь не туда.

Кожин переделывает.

Сухоруков провожает нас перед полуднем.

Стоим у его палатки, и мне немного неловко, потому что я не знаю, как прощаться с людьми, которых видел двое суток и которым должен больше, чем некоторым, кого знаю два года.

— Ну, — говорит он. — Заходите ещё.

— Постараюсь не заходить.

— Это правильно, — соглашается он. — К нам обычно заходят не от хорошей жизни.

— Сухоруков.

— Да?

— Мы вам движок на мельнице починили, баню отработали. За остальное я расплатиться не могу.

— За какое остальное?

— За то, что вы нас приняли без разговоров.

Сухоруков смотрит в сторону, на поле.

— Товарищ майор, — говорит он. — Вы на чужой полосе ночью садились когда-нибудь?

— Садился.

— И как вас принимали?

— По-разному.

— Вот, — говорит он. — Мне в прошлом октябре пришлось садиться в одном месте, где нас приняли плохо. Не то чтоб выгнали, а вот так — есть место, ложитесь. И ничего больше.

— И?

— И я тогда сказал себе, что у меня так не будет. Вот и всё. Никакой доброты, товарищ майор. Просто я помню октябрь.

Мы садимся на своей базе к полудню.

Всё родное, всё привычное, и после двух суток на чужом поле это чувствуется особенно ясно: свой капонир, свои вешки, свой запах от кухни, свои ямы на рулёжке, которые ты объезжаешь не глядя.

Группы на месте.

Шестнадцать машин вернулись к шести, остававшимся на базе. Из них четырнадцать боеготовы к вечеру, две — к завтрашнему полудню.

Люди вымыты, одеты в чиненое, выспались.

Я обхожу стоянки, и это занимает два часа, и за эти два часа я узнаю примерно двадцать мелочей, которых не узнал бы из доклада: что у Мятлева сел аккумулятор, что оружейники поругались с интендантом из-за ветоши, что Дёмин получил письмо из дома и ходит белый, и что с ним уже разговаривал Федя.

Вечером я сажусь дописывать.

Достаю тот же лист, на котором остановился позавчера. Он помялся в кармане, и последняя строчка так и висит недописанная: «Мы с тобой».

Я смотрю на неё.

И дописываю уже не то, что собирался тогда.

«Мы с тобой, я думаю, потому и сошлись, что не подошли по старой мерке.

Я это долго не мог сформулировать, а тут два дня смотрел на чужой инструмент и понял.

Если бы я тогда, в сорок первом, сумел вернуться к тебе тем, кем был, — у нас бы, наверное, сорвало все грани. Ты бы подгоняла себя под ту девушку, я бы изображал того человека, и мы бы оба говорили, что всё как прежде, а гайки бы крутились всё хуже.

А так пришлось делать своё. Из того, что есть. Из списанного уголка, как эта наша тележка.

Она кривая. Но она едет, и её двое катят там, где раньше четверо несли на руках.

Теперь по делу.

Мы вернулись на свою базу, полк собран, все целы. Двое суток я спал, ел и ходил в чистом. Больше про работу ничего не пишу — не потому что тайна, а потому что уже не помню, что там было интересного, кроме бани.

Напиши мне вот что.

Ты в прошлом письме упоминала, что у вас в отделении говорят про перемещение. Что именно говорят? Это слухи или уже есть бумага?

Спрашиваю не из любопытства и не чтобы строить планы. Просто если ваш госпиталь двинется, я хочу знать заранее, куда писать, а то мои письма будут месяц догонять тебя по всему фронту, а я, как ты знаешь, человек нетерпеливый, хотя и притворяюсь выдержанным.

И ещё. Если вдруг окажется, что вас переводят куда-нибудь в нашу сторону, — напиши сразу. Не потому, что я что-то смогу устроить. А потому, что мне будет легче дышать.

Твой Павел».

Складываю, надписываю, отдаю Гордееву — он зашёл перед отъездом почтовой машины.

— Отправишь завтра.

— Завтра? — переспрашивает он и тут же спохватывается. — Понял. Как обычно.

Я задерживаю взгляд на конверте, который он уже убирает. За окном хлопает дверь почтовой полуторки. Сейчас есть и время, и машина; к чему ещё ночь держать письмо при себе?

— Нет, — говорю я. — С сегодняшней машиной отправляй.

Гордеев смотрит на меня с удивлением.

— Вылетов же нет.

— Вот именно, — говорю я. — Вылетов нет.

Глава 2



Письмо приходит в самый неудобный час — в половине второго, когда у меня на столе лежат три списка и все три надо подписать до вечера.

Я узнаю конверт раньше, чем беру его в руки. У Марии крупный, немного наклонный почерк и привычка писать адрес так плотно, будто боится, что слова не поместятся.

Читаю стоя, потому что если сяду — вспомню, что не спал.

Она пишет коротко. Госпиталь переводят ближе к фронту, часть людей идёт с санитарным эшелоном, и эшелон пойдёт через пересыльную станцию — она называет её прямо, без околичностей, и приписывает дату: с шестнадцатого по восемнадцатое, точнее не знает никто, потому что «нас двигают, как шкаф по комнате, — то вправо, то опять на прежнее место».

Дальше две строки, из-за которых я перечитываю всё письмо второй раз.

«Я не прошу тебя приезжать. Я просто пишу, где буду, потому что ты однажды сказал, что тебе легче, когда ты знаешь точку на карте, а не направление».

Я стою с этим листом у окна, за которым техники катят бочку, и очень отчётливо чувствую, как в груди делается тесно.

Потом достаю из планшета рабочий календарь и всё-таки сажусь, чтобы разложить его рядом с письмом.

Шестнадцатое — это послезавтра. А послезавтра у меня начинается то, что в бумагах называется «перебазирование полка эшелонным порядком», а на человеческом языке означает, что половина моего хозяйства поедет по железной дороге через ту самую станцию.

Я сижу над календарём минуты три и честно сам себя проверяю.

Первое: совпадение это или я его себе устроил? Не устраивал. Станция одна на весь участок, через неё идёт всё, и наши, и не наши, и выбора у нас с ней нет.

Второе: изменится ли что-нибудь в моей работе оттого, что там будет Мария? Не должно.

Третье, самое неприятное: а я буду знать, если изменится?

Вот на третьем я и застреваю.

Отвечаю в тот же час, потому что если отложу — не напишу вообще.

Пишу, что буду на этой станции по службе, скорее всего семнадцатого. Что не знаю, в какой час и сколько пробуду. Что если разминёмся — оставлю ей весть у дежурного по станции и у диспетчера, фамилию диспетчера называю, потому что это Климов и потому что Климов не потеряет.

И пишу отдельной строкой то, что мне самому неудобно писать:

«Я не могу двигать твой эшелон и не буду пытаться. Если у вас погрузка или срочность, ты меня не ищи. Я всё пойму раньше, чем ты успеешь объяснить».

Запечатываю, отдаю связному и три минуты сижу, глядя в стену.

Потом беру первый список и подписываю.

На узел я выезжаю шестнадцатого в полдень, вместе с полковым инженером.

Верещагин — инженер-капитан, человек лет сорока, сухой, с вечно поджатыми губами, и я за год с лишним привык, что он говорит мало, а когда говорит — всегда про железо и никогда про людей. Он сидит рядом в кузове, одной рукой держась за борт, другой прижимая папку к шинели. На ухабах нас подбрасывает; я начинаю разговор, когда шофёр снижает ход у переезда, и наклоняюсь ближе, чтобы не кричать через весь кузов.

— Верещагин.

— Слушаю.

— Вы сегодня будете спорить с военными сообщениями.

— Я догадался.

— Вы умеете спорить?

Он поворачивает ко мне лицо, и на этом лице впервые за год с лишним появляется что-то похожее на веселье.

— Товарищ майор, я двенадцать лет спорю с людьми, которые хотят, чтобы самолёт летал без ремонта. Военные сообщения после этого — отдых.

Станция открывается из-за поворота сразу вся: три пути, разбитая водокачка, которую так и не восстановили, обгоревший пакгауз, платформа, и на путях — состав с боеприпасами, состав с чем-то укрытым брезентом, и дальше, у самого дальнего пути, длинная зелёная гусеница санитарного.

Он уже здесь.

Я смотрю на него ровно столько, сколько нужно, чтобы отметить: пришёл, стоит, окна зашторены, у третьего вагона откинута дверь и внизу стоит человек в белом халате поверх шинели.

Потом отворачиваюсь и иду к платформе, где стоит наш груз.

Груз наш выглядит так, как выглядит всякое хозяйство, вынутое из привычного места: жалко и бестолково. Ящики, ящики, ящики. Станки, обвязанные проволокой. Бочки. Штабель чего-то длинного под мешковиной. И посреди всего этого — наша тележка, та самая, которую летом скопировали с чужой, из подручного железа, и которой Плешаков гордится больше, чем орденом.

Плешаков сам тут же. Он в промасленном ватнике, хотя ещё не холодно, и ругается с кем-то у штабеля.

— Товарищ майор! — Он идёт ко мне, на ходу вытирая руки. — Вы вовремя. Тут нас грабят.

— Кто?

— Да вон, — он кивает на человека в шинели, стоящего у платформы с планшетом. — Говорит, что мы много занимаем.

Человек в шинели оборачивается.

Майор из военных сообщений, фамилия Тищенко, — я его помню по прошлой перевозке. Круглый, невысокий, с красными от бессонницы глазами и с тем особым спокойствием, которое бывает у людей, которым каждый день говорят, что они виноваты.

— Иванов, — говорит он и подаёт руку. — Ну наконец-то. С вашими техниками разговаривать невозможно.

— Что случилось?

— Ничего не случилось. Обычное. — Он раскрывает планшет. — У меня на узле пропускная способность вот такая, — он показывает щель между пальцами. — Подъезд разбит, маневровый один, и он полудохлый. Сегодня ночью я могу дать вам одну нитку. Одну. И в неё влезет вот столько.

Он показывает рукой в сторону путей.

— Платформа, две теплушки и полувагон. Всё. Больше не влезет ни во что, потому что дальше по расписанию идут вещи, которые я двигать не имею права.

— Понятно, — говорю я. — Что предлагаете?

— Предлагаю разумное. — Тищенко листает. — В первую нитку берём самолётные части, боепитание и людей. Они лёгкие, они компактные, и от них сразу польза: ваши перелетят, у них будет чем жить и чем стрелять. А вот это, — он тычет карандашом в сторону станков, — вот эту вашу мастерскую мы отправим вторым заходом. Через сутки, максимум двое.

— Через двое.

— Через двое, — повторяет он твёрдо. — Иванов, поймите меня правильно. У вас самолёты должны начать летать. Что им сейчас нужнее — ключи или патроны?

И вот тут надо остановиться и сказать одну вещь, которую я всегда себе говорю в таких разговорах, чтобы не сорваться.

Он прав.

Не наполовину прав, не «формально прав» — по-настоящему прав. Он рассуждает ровно так, как рассуждал бы я на его месте, имея одну нитку и четыре просителя. Самолёт без боекомплекта не воюет. Самолёт без палаток и котла не воюет тоже, потому что люди спят и едят. А станок — это железо, которое лежит и ждёт.

Беда только в том, что он считает первый день, а мне надо считать четвёртый.

— Тищенко, — говорю я. — Давайте не спорить на словах. Давайте пройдём вдоль этого добра, и вы мне покажете, что бы вы взяли, а я вам скажу, что будет через четыре дня, если это оставить.

— У меня двадцать минут.

— Хватит пятнадцати.

Мы идём вдоль платформы. Впереди Верещагин со своей папкой, за ним я, потом Тищенко, потом Плешаков, который делает вид, что идёт по своим делам, а на самом деле держится в трёх шагах и слушает.

— Вот, — говорит Тищенко у первого штабеля. — Это что?

— Это стеллаж и верстаки, — говорит Верещагин.

— Дерево?

— Дерево.

— Оставляем. Доски я вам на месте найду, у меня их полстанции.

— Согласен, — говорит Верещагин, и Плешаков за спиной у меня издаёт звук.

— Дальше. Это?

— Станок сверлильный.

— Тяжёлый?

— Двести сорок.

— Оставляем.

Верещагин останавливается.

— Нет.

— Почему нет? — Тищенко даже поворачивается всем корпусом. — Вы же только что согласились с верстаками.

— Верстак я сколочу за полдня из вашей доски, — говорит Верещагин ровно. — А дырку в кронштейне я пальцем не просверлю.

— Ну так возьмите дрель.

— Взял. — Верещагин открывает папку и показывает лист. — Вот, ручная, две штуки, они в этом ящике. Только ими я сделаю несколько толстых кронштейнов за смену и сотру людям руки. У меня по опыту после каждого вылета набирается работ на двадцать-тридцать отверстий: накладки, заплаты, крепёж. Это не про «красиво», это про то, что заплату надо чем-то пришить.

Тищенко смотрит на станок.

— Двести сорок кило, — говорит он с тоской.

— Двести сорок кило, — соглашается Верещагин. — И я вам за них отдам верстаки, стеллаж, вот этот ящик с малярным и половину вот того с расходным крепежом, потому что крепёж я на месте выпрошу у соседей.

— Вы серьёзно отдаёте?

— Совершенно серьёзно. Записывайте.

Тищенко записывает, и лицо у него делается задумчивое. Я стою в стороне и не лезу, потому что происходит именно то, ради чего я его сюда и привёз: они начали считать в одних и тех же единицах.

— А это? — Тищенко останавливается у большого угловатого ящика, обшитого рейкой. — Это у вас что за гроб?

— Агрегатный комплект, — говорит Плешаков из-за спины.

— Что?

— Приспособления для съёма и постановки агрегатов, — поясняет Верещагин. — Подъёмник, ложементы, оправки.

Тищенко меряет ящик шагами.

— Три метра. Три метра, Иванов! Это у меня четверть платформы. Что, без него никак?

— Без него никак, — говорит Плешаков.

— Погодите, — говорю я. — Плешаков, вы сейчас сказали «никак» слишком быстро. Тищенко, поехали.

— Куда?

— На аэродром. Тут шесть километров.

— У меня двадцать минут.

— У вас было двадцать минут двенадцать минут назад. Поехали, я вас верну через сорок.

Он смотрит на меня, потом на ящик, потом на свои часы и лезет в кузов.

Часть готовых машин Зорин уже перегнал на новую площадку. Остальные ждут подтверждения приёмки и очередного перелёта.

Я веду Тищенко прямиком к третьему борту от края.

Машина стоит с открытыми капотами и снятой панелью, и вокруг неё ходят двое в ватниках. Под правым мотором на брезенте разложено железо.

— Вот, — говорю я. — Прошу знакомиться. Сел четыре дня назад, привёз девятнадцать пробоин и мотор, который надо менять.

Тищенко смотрит.

— И что?

— А то, товарищ майор, что мотор с навесным оборудованием весит больше шести сотен килограммов, — говорит Плешаков, вылезая из кузова следом. — Вы мне сейчас объясните, как я его сниму.

— Краном.

— Крана нет. Кран на новой площадке будет через неделю, если будет.

— Ну... треногой.

— Тренога есть, — Плешаков показывает на угол капонира, где действительно стоят три бревна, связанные проволокой. — Только одной треноги мало. А в жизни его надо не просто поднять, а поднять, развернуть, подвести к раме и посадить на шпильки так, чтобы никому руку не оторвало. Вот для этого у меня в том гробу лежат ложементы и оправки.

Он лезет под мотор и вытаскивает изогнутую железяку, похожую на большую скобу.

— Вот эта штука, — говорит он, — весит восемь кило. Без неё вот эта, — он хлопает ладонью по мотору, — тяжёлая махина, будет висеть на честном слове, пока четверо мужиков её ловят. Я так один раз ловил. Больше не хочу.

Тищенко молчит.

— А там всё такое? — спрашивает он наконец. — В ящике?

— Не всё, — говорит Верещагин, и вот тут начинается самое интересное.

Он достаёт свою папку, кладёт её на крыло и раскрывает.

— Товарищ майор, я не буду вас уговаривать, что мне нужно всё. Я вам сейчас скажу, что в этом ящике действительно нужно, а что можно оставить.

Тищенко подходит ближе.

— Нужно: подъёмное приспособление, ложементы под мотор, две оправки и вот эта траверса. Это шестьсот с чем-то килограммов и метр восемьдесят по длине, если мы разберём ящик и уложим отдельно.

— А остальное?

— А остальное — приспособление для правки лопастей и стапель под хвостовую часть. — Верещагин ведёт пальцем по своему списку. — Правку лопастей мы за полгода делали четыре раза. Стапель — один раз. Это можно оставить и привезти вторым эшелоном, а если очень прижмёт — обойтись местным способом.

— Каким?

— Плохим, — честно говорит Верещагин. — Дольше и хуже. Но обойтись можно.

Плешаков за моей спиной набирает воздуха, чтобы возразить, и я, не оборачиваясь, кладу ему руку на плечо.

Тищенко смотрит на список и что-то подсчитывает.

— То есть вы сами режете свой ящик втрое.

— Я сам режу свой ящик втрое, — подтверждает Верещагин. — Потому что если я вам скажу «нужно всё», вы мне не поверите ни в одном слове. И правильно сделаете: у вас каждый второй просит всё.

Тищенко неожиданно улыбается — впервые за сегодня.

— Каждый первый, — говорит он. — Ладно, инженер. Записываю по вашему списку. Но учтите: вы мне это сейчас подписали, и если завтра вы придёте и скажете, что без стапеля у вас всё встало...

— Не приду, — говорит Верещагин.

Возвращаемся на станцию через пятьдесят минут, чуть позже обещанного. Тищенко первым идёт к дежурному проверить, что изменилось за его отсутствие, и всю дорогу Плешаков молчит и смотрит в борт, а когда вылезаем, отходит в сторону и начинает крутить самокрутку с таким видом, будто эта самокрутка его личный враг.

Я иду за ним.

— Обиделись.

— Никак нет.

— Плешаков.

Я жду, пока он скрутит бумагу и прикроет спичку от ветра. Только затянувшись, он поворачивается ко мне.

— Товарищ майор, вы понимаете, что он отдал стапель?

— Понимаю.

— А вы понимаете, что первую же машину с погнутой хвостовой мы будем править на земле, на коленке, и я её выпущу, и мне потом с этим жить?

— Понимаю.

— И вы всё равно за него.

— Я за него, — говорю я. — И объясню почему, а вы послушайте, потому что вам это ещё пригодится. Верещагин сейчас сделал не уступку. Он сделал размен. Он отдал то, что понадобится раз в три месяца, и взял то, что понадобится послезавтра. И сделал это первым, пока Тищенко не начал резать сам, наугад.

Плешаков сопит.

— Наугад он бы гроб целиком выкинул, — соглашается он неохотно.

— Целиком, — киваю. — А теперь у нас в первой нитке лежит подъёмное, ложементы и траверса. И через четыре дня, когда вам привезут машину с разбитым мотором, вы его снимете, а не будете ловить вчетвером.

— Я про это и говорю, что не будем ловить, — ворчит Плешаков. — А про стапель я вам всё равно припомню.

— Обязательно припомните. Только не сейчас, а через три месяца, когда он действительно понадобится. Тогда и припомните, и я вам его достану.

Погрузку начинаем в половине шестого, и вот тут выясняется, что все наши бумажные подвиги стоят ровно столько, сколько стоит земля под колёсами.

Подъезд к платформе разбит. Не повреждён, а именно разбит: за последнюю неделю здесь прошли сотни колёс, потом двое суток лил дождь, и теперь между складом и платформой лежит полоса метров в сорок, в которой стоит чёрная жижа, а под жижей — раскисшая глина.

Тележка — наша гордость, скопированная летом с чужой, с широкими колёсами и низкой рамой, — проходит эти сорок метров два раза.

На третий, с частью подъёмного приспособления, она садится в грязь.

Я вижу это с платформы. Шесть человек упираются, тележка идёт, идёт, потом левое колесо уходит в глину по ступицу, рама перекашивается, и груз — двести сорок килограммов железа, в пределах написанной на раме нагрузки, но увязанного на скорую руку, — начинает медленно, тяжело наклоняться влево.

— Стой! — орёт Плешаков.

Он орёт так, что на соседнем пути оборачивается сцепщик.

— Стой! Все руки убрали! Отошли!

Люди отскакивают. Тележка стоит, накренившись, и груз на ней держится только потому, что упёрся в бортик.

Я спускаюсь с платформы и иду туда, увязая по щиколотку.

— Ещё бы чуть-чуть, — говорит Плешаков, и я вижу, что у него ходят желваки. — Ещё бы чуть-чуть, и оно бы легло на Гаврилова. Он с той стороны толкал.

— Толкать больше не будем, — говорю я.

— Товарищ майор, у нас окно...

— Толкать больше не будем, — повторяю я. — Один раз мы его сейчас уроним — и у нас не будет ни окна, ни приспособления, ни Гаврилова.

Дальше полтора часа мы занимаемся тем, чем в книжках про войну не занимается никто, потому что это скучно.

Я поворачиваюсь к стоящему рядом Гаврилову — составителю поездов, которого чуть не придавило, мужик лет пятидесяти, с лицом, на котором за тридцать лет службы отпечаталась вся местная погода.

— Доски есть?

— Доски есть, — говорит он. — Шпалы старые есть. Только они вам весь подъезд не закроют.

— Мне весь и не нужен. Мне нужно сорок метров, и не сплошняком, а под колёса. Две колеи.

Гаврилов чешет подбородок.

— Вот это можно.

Кладём настил.

Работают все: мои технари, его путейцы, двое из санитарного эшелона, которые пришли посмотреть, а остались таскать. Старые шпалы тяжёлые, скользкие, пропитанные, от них воняет, руки после них чёрные и не отмываются неделю.

Пока кладут, Верещагин пересматривает груз.

— Разделяем, — говорит он. — Подъёмное отдельно. Ложементы отдельно. Траверсу вообще на руках, она длинная, но лёгкая.

— Это же три подачи вместо одной.

— Разделим и этот ящик: на две подачи полегче, до ста двадцати каждая. С двести сорока на размокшем подходе уже сели, — отвечает он. — Мы это только что видели.

Сначала груз снимаем на подложенные доски, затем вынимаем освободившуюся раму, и это тоже полчаса.

К семи первая подача уходит по настилу на платформу.

Я стою и смотрю, как шесть человек ведут тележку по двум узким деревянным полосам, и как Гаврилов идёт впереди спиной вперёд и показывает руками, и как Плешаков идёт сбоку и держит руку на грузе — не для того, чтобы удержать, а чтобы почувствовать, если качнётся.

Проходит.

Вторая подача проходит быстрее. Третья — совсем ходко.

А потом Верещагин делает то, за что я готов простить ему все его поджатые губы.

Он лезет на платформу и начинает командовать, как укладывать.

— Не так. Подъёмное — в хвост, к торцу.

— Товарищ инженер, его сподручнее сюда.

— Сподручнее — грузить. А разгружать мы будем в темноте, на чужой площадке, где нет ни крана, ни фонаря. Что нам понадобится первым?

Технарь думает.

— Подъёмное.

— Значит, оно лежит с того края, откуда откроют борт. А ящик с расходным — в середину, он нам понадобится на второй день.

— А если откроют с другой стороны?

— А для этого мы вот тут напишем мелом, — говорит Верещагин и лезет за мелом. — Крупно. И на накладной повторим.

Я смотрю на это и думаю, что за последний год научился отличать хорошего специалиста от очень хорошего по одному признаку: очень хороший укладывает вещи в том порядке, в каком их будет доставать другой человек в темноте.

В восьмом часу на платформе появляется Климов.

Я узнаю его издали по походке — он ходит наклонившись вперёд, как будто всё время против ветра, и держит подмышкой ту же картонную папку, что и два года назад.

Он подходит, останавливается, оглядывает нашу платформу, настил, грязь и людей, и говорит:

— Здравствуйте, товарищ майор.

— Здравствуйте, Климов.

— Плохо у вас с землёй.

— С землёй у нас отвратительно.

— У всех отвратительно, — соглашается он. — Я к вам с разговором. Отойдём?

Мы отходим к торцу платформы, где стоит перевёрнутый ящик и можно сесть.

Климов садится, кладёт папку на колени и раскрывает.

И начинается тот единственный вид разговора, ради которого я в сорок первом вытащил этого человека с его станции: разговор, в котором никто ничего не обещает.

— Значит, так, — говорит Климов. — Я вам сейчас расскажу про эту ночь, а вы не перебивайте, потому что я собьюсь.

— Не перебиваю.

Он ведёт пальцем по разграфлённому листу, на котором у него от руки расчерчены часы.

— С двадцати одного до двадцати трёх по перегону идёт порожняк под погрузку, его двигать нельзя, за него с меня голову снимут. В двадцать три сорок у меня окно. Первое. Оно короткое: сорок минут, дальше встречный.

— Что в него влезает?

— В него влезает то, что к двадцати трём сорока уже стоит собранным на выходном пути. — Климов поднимает на меня глаза. — Понимаете разницу? Не «почти собранным». Не «осталось прицепить два вагона». Собранным. Потому что маневровый у меня один, он сейчас работает на боеприпасах, и до двадцати одного сорока я его вам не дам вообще.

— Второе окно?

— Второе в час десять. — Он переворачивает лист. — Оно длиннее, час с лишним. И вот в него я могу добавить платформу, потому что между первым и вторым маневровый освободится и успеет её вытащить и прицепить.

— Если успеет.

— Если успеет, — соглашается Климов. — Если у вас груз будет закреплён, если вагонный мастер не упрётся, если состав не придётся переставлять по два раза. Я вам это заранее говорю, чтобы вы потом не удивлялись.

Я смотрю на его лист.

— Третьего окна нет.

— Третьего окна нет. — Он захлопывает папку. — Товарищ майор, я вас уважаю и помню, чем вам обязан, и всё-таки скажу прямо, чтобы между нами не было тумана: я вам ничего не сделаю сверх того, что есть на этой бумаге. Я не могу снять с нитки встречный. Я не могу задержать боеприпасы. Я могу только правильно уложить в те щели, которые остались.

— Климов.

— Что?

— Я вас за это и звал два года назад.

Он хмыкает и лезет за папиросой.

— Теперь про ваш выбор, — говорит он, закуривая. — Тищенко вам расписал на первое окно ваше хозяйство: части, боепитание, людей. Оно у вас практически собрано, оно к двадцати трём сорока будет стоять. Значит, в первое окно вы уйдёте.

— А мастерская?

— А мастерская, — Климов выпускает дым, — во второе. И это, между прочим, для вас неплохо: у вас будет полтора часа на то, чтобы разобраться с креплением.

— Тогда в чём выбор?

Климов молчит секунду дольше, чем надо.

— В том, — говорит он, — что на первое окно у меня есть второй желающий. И он уже стоит собранный, и ему ничего не надо цеплять.

Я поворачиваю голову.

Санитарный эшелон стоит там же, где стоял, — длинный, зелёный, с зашторенными окнами. У третьего вагона по-прежнему откинута дверь.

— Они просились ещё днём, — говорит Климов буднично. — Я им отказал, потому что по указанию у вас преимущество: перебазирование боевой части. Бумага такая есть, я её вам покажу, если хотите. Так что формально вопрос закрыт, и я к вам не с просьбой пришёл.

— А с чем?

— С уведомлением. — Он гасит папиросу о каблук. — Я обязан вам сказать, что у меня на первое окно два претендента и что решение принято в вашу пользу. Чтобы вы потом не узнали от кого-нибудь третьего и не подумали, что я вас обошёл.

Мы сидим молча.

Над станцией начинает темнеть — в октябре темнеет быстро, и уже видно, как у стрелок зажигают фонари с прищуренными заслонками.

— Климов.

— Слушаю.

— Что у них за срочность?

— Вот этого я не знаю, — говорит он. — Я диспетчер. Мне сказали «тяжёлые», а насколько тяжёлые и что будет, если они постоят полтора часа, — это не моя грамота.

Я встаю.

— Пойду узнаю.

Климов тоже встаёт, и лицо у него делается неопределённое.

— Товарищ майор, вы имеете полное право не ходить.

Глава 3



— Имею.

— И я вам ещё скажу, — говорит он вслед, когда я уже иду. — Если вы их пустите в первое, а у себя со вторым не успеете, то ваша мастерская останется здесь до послезавтра. И я вам её не вытащу. Мне будет нечем.

— Я понял.

Иду вдоль путей и по дороге очень трезво отдаю себе отчёт в том, что сейчас делаю.

Я иду к санитарному эшелону, в котором едет Мария.

У меня есть законное преимущество, подтверждённое бумагой. Я могу просто повернуться, уйти к своей платформе и ночью отправить в первое окно то, что запланировано, а во второе — мастерскую, и это будет правильно с любой стороны, с какой ни посмотри.

И я иду туда.

И не могу с точностью до конца сказать себе, чего в этом шаге больше: желания проверить чужую срочность или желания увидеть у откинутой двери знакомое лицо.

Вот это неприятнее всего. Я не знаю про себя наверняка.

Значит, — говорю я себе, шагая по шпалам, — значит, буду смотреть не на неё, а на бумаги и на людей. И решать буду по ним. И если не смогу отделить одно от другого, то не приму решения вовсе, а отдам его Тищенко, и пусть режет он.

У третьего вагона стоит санитар и курит в рукав.

— Начальник эшелона где?

— В четвёртом. Только он занят.

— Скажите, что командир полка.

Он уходит, и в эту минуту в раскрытой двери третьего вагона появляется движение: оттуда на руках подают носилки.

Сначала я вижу только носилки и чьи-то руки.

Потом вижу её.

Мария стоит в вагоне на коленях, одной рукой придерживая край носилок, а второй — что-то у лица лежащего, какую-то трубку или маску, я не разбираю. Она не смотрит наружу. Она смотрит только на своего раненого и говорит ему что-то, чего я не слышу, и по её лицу видно, что весь мир сейчас размером с эти носилки.

Человека передают вниз, на руки двоим в халатах. Она спускается следом на подножку, не выпуская его руки, и идёт рядом с носилками до самой машины, стоящей за пакгаузом.

Я стою в темноте шагах в двадцати.

Она меня не видит. И это, наверное, лучшее, что могло сейчас случиться.

— Товарищ майор?

Начальник эшелона выходит из четвёртого вагона — немолодой, тяжёлый, майор медицинской службы, фамилия Перфильев. Халат у него наброшен поверх шинели, а рукава закатаны, и на руках видны следы от резинок.

— Иванов, командир полка. — Я подаю руку. — У меня к вам один вопрос, и, боюсь, неприятный.

— У меня сегодня все вопросы неприятные. Слушаю.

— На первое окно, в двадцать три сорок, вас не берут. Берут меня. Я хочу понять, что для вас значит остаться до часа ночи.

Перфильев смотрит на меня секунды три.

— Это вы меня сейчас проверяете или вы правда спрашиваете?

— Правда спрашиваю.

— Тогда пойдёмте.

Мы идём вдоль состава. Он на ходу говорит — сухо, по-докторски, и я слышу в этом голосе то же самое, что слышал у Верещагина: человека, который очень устал объяснять очевидное.

— У меня в эшелоне четыреста двенадцать человек. Из них тяжёлых — сорок один. Из сорока одного восемь таких, которых я вообще везти не должен, но оставить их было нельзя, потому что госпиталь снимался.

— Что за восемь?

— Двое в живот, четвёртые сутки. Один с газовой — его я снял тут, вы, наверное, видели, только что передали в местный, у них есть чем резать, а у меня в вагоне нет. — Он останавливается и оборачивается. — Остальные пятеро — грудная клетка и бедро. Им нужно лежать неподвижно и приехать.

— Полтора часа стоянки для них — это что?

— Полтора часа стоянки — это ничего, — честно говорит Перфильев. — Полтора часа они пролежат.

Я не ожидал такого ответа и, честно говоря, чуть не выдохнул с облегчением.

— Тогда в чём вопрос?

— В том, что дело не в полутора часах. — Он достаёт из кармана мятый листок. — Вот. Мне в Лихую надо попасть к утренней перецепке. Если я ухожу в двадцать три сорок, я успеваю. Если в час десять, я туда прихожу после того, как она прошла, и стою до вечера. Это не полтора часа. Это четырнадцать.

— Вы уверены?

— Я не уверен, — говорит он. — Я знаю, что так было в прошлый раз, и что мне так сказал ваш диспетчер, когда я просился днём. Проверьте у него, я не обижусь.

Мы возвращаемся к четвёртому вагону, и я вижу, что за нами уже идёт Климов — его кто-то позвал, или он сам почуял.

— Климов. Перецепка в Лихой.

Климов не переспрашивает. Он лезет в свою папку и молча смотрит в лист. Долго.

— Правда, — говорит он наконец. — Из первого окна он к ней успевает с запасом в двадцать минут. Из второго — не успевает совсем. Потом у них днём пропускают воинские и порожняк под уголь, а санитарный они поставят под откос... то есть на запасный, — поправляется он, покосившись на Перфильева. — Раньше вечера не тронут.

— Четырнадцать часов, — говорю я.

— Может, двенадцать. Может, шестнадцать.

— С сорока тяжёлыми.

— С сорока тяжёлыми, — подтверждает Перфильев.

И тут он делает вещь, которую я ему потом долго буду вспоминать.

Он кладёт ладонь на лист с перечнем тяжёлых, удерживая бумагу от ветра.

— Товарищ майор, — говорит он. — Прошу первое окно для раненых. Служебно.

— Почему?

— Потому что это основание для приоритета, а не личная услуга мне. Я за своих отвечаю и потому третий раз добиваюсь отправки. Поедем во второе — в Лихой придётся заново вызывать помощь и менять перевязки на стоянке. Переживут ли задержку все, я вам не обещаю.

Я стою между ним и Климовым и думаю ровно одну минуту.

Думаю я вот о чём.

Если я отдам первое окно — мой полк пойдёт в час десять, и это значит: маневровый будет вытаскивать и цеплять мою платформу с мастерской в спешке, между двумя нитками, и если вагонный мастер к чему-нибудь придерётся, я останусь тут до послезавтра вообще со всем. И тогда Зорин на новой площадке будет сидеть с готовыми машинами и без ремонта, и первая же посадка с повреждением превратится в стоящий самолёт.

Если я не отдам — сорок человек проведут лишние полсуток в вагоне на запасном пути, из них семеро таких, которым лежать и ехать.

И где-то сбоку от этих двух соображений, не мешая им, но и не исчезая, стоит третье, совсем личное: если санитарный уйдёт в двадцать три сорок, я её сегодня почти не увижу. А если останется до часа ночи — у нас будет ещё полтора часа.

Вот это третье я беру и откладываю в сторону. Не выбрасываю — врать себе бесполезно, — а именно откладываю и придавливаю чем-нибудь потяжелее.

— Климов. Первое окно — санитарному.

Климов кивает, как будто ждал.

— Записываю. Второе — вам.

— Второе — мастерской. — Я поворачиваюсь. — И вот что ещё. Наши самолётные части и боепитание, которые уже собраны, — они тоже пойдут вторым?

— Нет, — говорит Климов. — Во второе окно у меня влезет то же самое количество, а не двойное. Или ваша мастерская, или ваши части.

— Тогда мастерская. Части останутся здесь до следующей отправки.

Тищенко, который подошёл минуту назад и молча слушал, наконец не выдерживает.

— Иванов, вы соображаете, что делаете?

— Соображаю.

— Вы только что своими руками отдали свою нитку и вдобавок оставили здесь патроны и палатки.

— Патроны у Зорина есть на два дня, я проверял перед выездом. Палатки он найдёт. — Я смотрю на него. — А снять мотор ему будет нечем.

Тищенко трёт лицо ладонями.

— Я обязан это записать.

— Записывайте.

— И записать я обязан так: командир полка отказался от предоставленной нитки в пользу санитарного эшелона. И если завтра ваш полк не начнёт работать вовремя, спрашивать будут с вас, а не с меня и не с него.

— Именно так и запишите, — говорю я. — Слово в слово.

— И причину укажите, — вдруг говорит Перфильев. — Что он не просто так отказался, а после того, как проверил у меня и у диспетчера.

— Причину укажу, — ворчит Тищенко. — Я, знаете, не зверь.

Маневровый мы получаем в двадцать один сорок, минута в минуту, и следующие два часа я не думаю ни о ком, включая себя.

Сначала маневровый перетаскивает с дальнего пути на выходной санитарный — чтобы потом, в двадцать три десять, осталось только подвести поездной паровоз и проверить состав.

Он проходит мимо нашей платформы медленно, вагон за вагоном, и в нескольких окнах теперь не зашторено, и в жёлтом свете видно людей: кто-то сидит, кто-то лежит, кто-то стоит у окна и смотрит на нас, на грязь, на настил из старых шпал.

Я стою на платформе и считаю вагоны, потому что считать легче, чем искать глазами одно окно.

Потом начинается наше.

Маневровый вытаскивает нашу платформу с третьего пути, и тут же выясняется, что радоваться было рано.

К платформе подходит вагонный мастер — маленький, злой, в железнодорожной шинели, с фонарём — и начинает светить под груз.

Через полминуты он выпрямляется.

— Не поеду.

— Что значит «не поеду»? — говорит Плешаков.

— То и значит. Вот это, — он тычет фонарём, — у вас чем закреплено?

— Проволокой.

— Проволокой, — повторяет мастер. — Шестьсот килограммов железа с высоким центром, на платформе, под ним настил из досок, и всё это у вас притянуто мягкой проволокой в две нитки. На первом же перегоне, на стыке, оно у вас пойдёт вбок. А если на кривой качнёт — оно вам полвагона снесёт.

— Мы же...

— Товарищ, — устало говорит мастер, — я двадцать лет смотрю, как хорошие люди привязывают груз так, чтобы доехать до ворот. А ехать вам двести сорок километров с двенадцатью остановками.

Плешаков открывает рот, и я его опережаю:

— Что нужно?

Мастер наконец смотрит на меня.

— Растяжки в четыре стороны катанкой, и не в две нитки, а в шесть, со скруткой. Упорные бруски под ложемент, прибить к настилу. И вот эту вашу траверсу снять с верха и положить вниз, а то у вас центр тяжести под небеса.

— Сколько времени?

— Час. Если с вами будут работать мои.

Я смотрю на часы. Двадцать один пятьдесят пять. Второе окно — в час десять.

— Климов!

Он уже идёт к нам от стрелки, и по походке видно, что он всё слышал.

— Час, — говорю я.

— Час у вас есть, — говорит Климов. — Ровно час, и ни одной минуты сверху. В двадцать три десять маневровый уходит готовить отправление санитарного, и до ноля сорока он мне не

принадлежит. Если к двадцати трём десяти ваша платформа не готова, я в ноль сорок не успею ни вытащить её, ни прицепить, ни проверить.

— Понял.

— И вот ещё что, товарищ майор. — Он говорит негромко, но так, чтобы слышали все вокруг. — Я в час десять отправлю то, что будет готово. Если ваша платформа к этому времени не готова — она остаётся, а состав уходит без неё. Я узел ради вас не остановлю. Ни ради вас, ни ради кого.

— Я вас об этом и не прошу.

— Просить будете через сорок минут, — говорит Климов. — Все просят. Я предупреждаю заранее, чтобы потом не ссориться.

Работают все.

Путейцы Гаврилова приносят катанку, кувалды, скобы. Плешаков со своими снимают траверсу — вчетвером, на верёвках, в темноте, при двух фонарях, — и укладывают её вдоль борта. Мастер ходит с фонарём и тычет пальцем: сюда брусок, сюда скрутку, здесь ещё одну.

В двадцать два сорок Верещагин подходит ко мне.

— Товарищ майор. Не успеваем.

— На сколько?

— Минут на пятнадцать. Мешает вот этот ящик. — Он показывает. — Расходный крепёж. После изменения растяжек мастер требует более широкий упор; ящик теперь мешает его поставить, и его надо снимать и переставлять, а он тяжёлый и неудобный.

— Предложение?

— Снять его с платформы и оставить. Совсем.

Плешаков, который это слышит, разгибается.

— Товарищ инженер, там болты! Там заклёпки, там трос!

— Там расходное, — говорит Верещагин. — Которое я выпрошу у соседей, у БАО, у кого угодно. А подъёмное я ни у кого не выпрошу, потому что его ни у кого нет.

Плешаков секунды три борется с собой.

— Снимаем, — говорит он.

Ящик снимают вчетвером и просто отволакивают на край платформы, а опускают по доскам на станционную рампу. Гаврилов укрывает его брезентом и велит дежурному принять для следующей отправки.

В двадцать три ноль пять мастер обходит платформу в последний раз.

Светит. Дёргает растяжки — каждую, рукой. Стучит по брускам ногой.

— Поедет, — говорит он.

И уходит, не прощаясь.

Платформа готова и ждёт на погрузочном пути: в ноль сорок маневровый вернётся за ней после санитарного.

Я стою и смотрю ей вслед, и рядом со мной стоит Плешаков, и у него руки в крови — не сильно, содранные о катанку, — и он этого не замечает.

— Плешаков, вы едете с ней?

— Еду.

— Кто с вами?

— Шестеро. Гончаров, Тюрин, двое молодых и двое из планерной группы.

— Верещагин остаётся здесь до следующей отправки, — говорю я. — Значит, техническое руководство на месте — на вас, но по его указаниям, которые он вам даст письменно. Не по памяти. Письменно.

— Он уже дал, — говорит Плешаков и хлопает себя по груди. — Тут.

— Хорошо. — Я смотрю на него. — И ещё одно. Когда приедете и начнёте разворачиваться, вы будете первым человеком на площадке, у которого есть железо. К вам пойдут все:

и с машиной, и с печкой, и с чьим-нибудь сапогом. Не давайте себя разобрать на мелочи в первые сутки.

— Я и не дамся.

— Дадитесь. Вы добрый.

Плешаков фыркает.

— Товарищ майор, меня первый раз в жизни назвали добрым.

— Значит, вокруг вас были невнимательные люди.

В двадцать три пятнадцать к платформе прибегает связной с телефонограммой.

Я читаю при свете фонаря.

Зорин.

«Перелёт закончен. Двенадцать машин на площадке. Посадка без происшествий. Площадка мокрая, южный край не годится, размечаю по северному. Связь по расписанию. Готовых к работе по машинам — восемь. Четыре требуют осмотра и мелкого ремонта. Обещать по ним вылет до прибытия мастерской не буду».

Я читаю последнюю фразу дважды, и у меня делается тепло где-то под рёбрами.

Он это написал не для красоты. Он это написал, потому что знает: когда завтра утром придёт задача, ему очень захочется доложить «полк в строю», и четыре машины впишутся в это «в строю» сами собой, без всякого злого умысла, просто потому, что они стоят на площадке и на них есть экипажи.

— Ответ будет? — спрашивает связной.

— Будет. Пиши.

Я диктую:

«Принял. Мастерская выходит в час десять, с ней Плешаков и шесть человек. Разгрузку начинать с того борта, где мелом отмечено. Подъёмное приспособление — первым. Части и боепитание остаются здесь до следующей отправки, расход патронов на завтра считай по наличию. Четыре машины до мастерской в строй не ставить. Иванов».

Связной убегает.

— Товарищ майор, — говорит Плешаков. — А Журавлёв связь между двумя площадками держит?

— Держит. У него с обеда два расписания — для нас и для них.

— Это хорошо, — говорит Плешаков. — А то у меня там кабелей на две катушки, и все одинаковые, и если при переносе метки собьют, будем час прозванивать концы вместо работы.

— Пометит. Он летом всю жизнь на это положил.

До отправления санитарного в двадцать три сорок остаётся несколько минут.

От той минуты, когда я отдал ему окно, до этой проходит без малого два часа, и за эти два часа я не подхожу к нему ни разу.

Сначала потому, что маневровый и платформа. Потом потому, что мастер и растяжки. А потом, если совсем честно, ещё и потому, что боялся: подойду — и решение, уже принятое, начнёт задним числом выглядеть как подарок.

Она приходит сама.

Я стою у стрелки, между двумя фонарями, и смотрю, как последний вагон санитарного утягивают на выходной путь, и вдруг слышу сзади:

— Паша.

Оборачиваюсь.

Она стоит в трёх шагах — в шинели поверх халата, без шапки, волосы убраны под платок, и руки у неё до локтей мокрые, она их вытирает на ходу полотенцем.

— У меня четыре минуты, — говорит она.

— У меня тоже.

Мы стоим и смотрим друг на друга, и, честное слово, за эти четыре минуты я успеваю разучиться разговаривать.

— Я видела, — говорит Мария.

— Что видела?

— Как ты ходил к Перфильеву. Меня Настя позвала, она сказала — какой-то майор-лётчик пришёл узнавать про нашу срочность.

— И?

— И я поняла. — Она перекладывает полотенце из руки в руку. — Паша, я хочу сказать тебе одну вещь, и хочу сказать её сейчас, чтобы потом она не выросла во что-нибудь неправильное.

— Говори.

— Ты нам не подарил это окно.

Я молчу.

— Ты его не подарил, — повторяет она твёрдо. — Я не хочу, чтобы ты думал, будто сделал это для меня, и не хочу, чтобы я сама так думала. У нас семеро, которых нельзя было держать на путях. Перфильев ходил из-за них к диспетчеру три раза. Если бы меня в этом эшелоне вообще не было, всё равно надо было пускать нас вперёд.

— Знаю.

— Точно знаешь?

— Проверял, — говорю я. — Не у тебя. У него и у Климова. Отдельно.

Она смотрит на меня и вдруг чуть-чуть улыбается — устало, одними уголками.

— Вот за это спасибо.

— За что именно?

— За то, что проверял. Мне было бы очень плохо, если бы ты просто махнул рукой и сказал «пусть медицина едет, там Маша».

— Мне тоже было бы плохо, — говорю я. — Только по другой причине.

— По какой?

— Потому что тогда я уже не смог бы себе доверять. — Я развожу руками. — Понимаешь, у меня работа такая, что я каждый день решаю, кого куда. И если я один раз решу по тому, кто мне дорог, я потом всю жизнь буду проверять себя и не знать наверняка.

Мария кивает, и видно, что ей это объяснять не надо.

— Теперь я скажу вторую вещь, — говорю я. — Она хуже.

— Говори.

— Я очень хотел, чтобы вы остались до часу десяти.

Она поднимает брови.

— Я всё время, пока считал, знал, что если вы уйдёте в двадцать три сорок, то я тебя сегодня почти не увижу. И мне этого очень не хотелось. Я это отложил в сторону, но не выбросил. Оно всё время лежало рядом.

Мария комкает мокрый край полотенца и смотрит на меня несколько секунд; от вагона уже зовут санитаров.

— И ты мне это зачем рассказываешь?

— Затем, что если я это спрячу, то у нас с тобой будет один разговор, а у меня внутри — другой. Я хочу, чтобы ты знала и ту часть, за которую мне неловко.

Она вдруг делает шаг вперёд и берёт меня за отворот шинели — просто держит, не притягивая.

— Знаешь, чего мне больше всего хотелось за сегодня? — говорит она.

— Чего?

— Сесть. Просто сесть на что-нибудь неподвижное, чтобы не качалось, и чтобы кто-нибудь налил мне чаю. У нас в вагоне кипяток есть, а сесть негде.

— У меня на платформе есть перевёрнутый ящик, — говорю я. — И чай есть, у Гаврилова, он путеец, у него всегда чай.

— Вот, — говорит она. — Вот это и есть то, чего мы с тобой сегодня не сделаем.

— Не сделаем.

Где-то впереди, у головы состава, коротко и хрипло гудит паровоз.

Мария отпускает отворот и лезет в карман шинели.

— Держи. — Она суёт мне сложенную вчетверо бумажку. — Это адрес. Полевая почта, куда мы едем. Я его вчера записала на всякий случай, думала — не пригодится, потому что мы всё время переезжаем.

— Пригодится.

— Пиши обязательно, — говорит она. — И не жди, пока будет что-то хорошее, чтобы написать. Ты так делаешь. Ты пишешь, когда у тебя что-то получилось.

— Разве?

— Разве. — Она отступает на шаг. — Последние три письма — все после чего-нибудь удачного. А я хочу знать и про неудачное тоже.

— Хорошо.

Паровоз гудит второй раз, длиннее.

— Мне пора, — говорит она.

И не уходит.

Мы стоим ещё несколько секунд, и я понимаю, что если сейчас сделаю шаг вперёд — она не отступит; и что после этого шага у нас обоих будет очень тяжёлая ночь, у каждого в своём составе.

— Соколова! — кричат от вагона. — Соколова, третий!

— Иду! — кричит она через плечо и поворачивается ко мне. — У меня там мальчик в третьем, семнадцать лет, у него после каждой стоянки начинается. Он стоянки боится.

— Иди.

— Паша.

— Что?

— Ты сделал правильно, — говорит она. — И я тебе за это не должна.

— Я знаю.

— Вот и хорошо.

Она поворачивается и идёт к вагону — быстро, деловито, вытирая руки на ходу, и на подножке её подхватывают за локоть чьи-то руки, и дверь она не закрывает, потому что там кто-то ещё лезет следом.

Санитарный трогается в двадцать три сорок с чем-то — Климов потом скажет, что в двадцать три сорок одну, и будет этим недоволен.

Он уходит медленно, тяжело, набирая ход не сразу. Я стою у стрелки и смотрю, как мимо проплывают зелёные вагоны, и в одном из окон третьего кто-то стоит, но там свет за спиной, и я вижу только силуэт, и не берусь утверждать, что это она.

Потом проходит последний вагон, и за ним открывается пустой путь, мокрые шпалы и красный фонарь на хвосте, уменьшающийся в темноте.

Я стою, пока фонарь не исчезает.

Потом поворачиваюсь и иду обратно, вдоль состава, к своей платформе.

У станционной рампы горят два фонаря. Плешаков сидит на её краю, свесив ноги, и кто-то из его людей передаёт ему снизу вещмешок. Верещагин стоит рядом с Гавриловым, и они, судя по жестам, обсуждают, как будут разгружать на той стороне.

Мы ждём у рампы. В ноль сорок маневровый возвращается, забирает нашу платформу и ставит в состав; проверка сцепления проходит без задержки. Климов идёт мне навстречу, пряча папку подмышку.

— Ваши в составе, — говорит он. — Отправление час десять. Хотите — проводите, хотите — идите спать, вы на человека уже не похожи.

— Провожу.

— Как знал. — Он останавливается и вдруг говорит, глядя не на меня, а куда-то вдоль путей: — Товарищ майор, я вам за сегодня одну вещь скажу, а вы не смейтесь.

— Не буду.

— Я за войну много раз видел, как боевые командиры отдают своё место раненым. Обычно это выглядит... — он крутит пальцами, — красиво. С речью. А вы сначала три раза переспросили, потом полезли к моему листу, потом заставили Тищенко записать, что спрашивать будут с вас.

— И что?

— И то, что первое я забываю через неделю, — говорит Климов. — А второе я запомню.

Он уходит к стрелке.

Я поднимаюсь на неподвижную рампу пакгауза, сажусь рядом с Плешаковым на край настила, и минуты две мы просто сидим и молчим.

Где-то на севере, за пакгаузом, маневровый коротко отвечает свистком составителю. Пахнет мокрым деревом, углём и мазутом. Под ногами, в темноте, стоит укрытый ящик с крепежом, принятый дежурным до следующей отправки.

— Товарищ майор, — говорит Плешаков. — А части и патроны когда пойдут?

— Заявка на послезавтра принята, — говорю я. — Точное окно Климов подтвердит.

— А если не найдёт до послезавтра?

— Тогда будем возить машинами по грязи.

Плешаков молчит, потом крякает.

— Ну, значит, будем возить машинами по грязи, — говорит он. — Дело привычное.

Плешаков уходит с рампы к своим людям и садится в теплушку. В час десять состав трогается.

Платформа проходит мимо меня медленно, и я успеваю увидеть при свете фонаря белую меловую надпись на борту, крупную, кривоватую, сделанную рукой Верещагина:

«ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ. ПОДЪЁМНОЕ — ПЕРВЫМ».

Глава 4



Бумага приходит в среду утром, и в ней нет ни одного слова, которого мы не сделали бы сами три дня назад.

«Перебазирование производить эшелонами по готовности». Всё.

Я читаю это, стоя посреди двора у штабной хаты, и первую минуту ловлю знакомое раздражение: мы неделю бились, Климов выкраивал нам вагонные окна, мастерская уже разгружена на новом месте, а бумага доехала только теперь.

Потом раздражение проходит, и остаётся то, что важнее.

Потому что до этой бумаги мы делали правильную вещь неофициально. А теперь то же самое можно требовать с людей, ссылаясь на строчку.

— Тищенко, — говорю я.

Начальник штаба выходит из хаты, на ходу застёгивая ворот. Это наш начальник штаба капитан Тищенко, однофамилец майора ВОСО на станции. Он у меня несколько недель; до войны — школьный завуч, и по его почерку это заметно за версту: у него всё в клеточку.

— Утверждено, — говорю я и отдаю ему лист. — Садись писать.

— Что писать?

— Кто за что отвечает. Пока у нас полк на двух точках, у меня должно быть четыре фамилии, а не «полк».

Мы садимся тут же, на завалинке, потому что в хате душно и темно, и Тищенко раскладывает на коленях планшет.

Ситуация у нас такая. Полк сейчас живёт на двух аэродромах, и будет так жить недели две, пока не закончится передвижка. На старой точке — десять машин и те экипажи, которые ещё не перелетели. На новой — двенадцать машин и мобильная мастерская, которую мы выдернули первым эшелоном, часть экипажей и Зорин.

Между точками — сорок километров по прямой и километров шестьдесят по дороге, потому что между ними балка и разбитый мост. Железнодорожному грузу пришлось идти ещё длиннее, обходом в двести сорок километров.

— Первое, — говорю я. — Кто отвечает за остающиеся машины.

— Вы, — говорит Тищенко.

— Нет. Я отвечаю за всё, это не фамилия, это должность. Мне нужен человек, которому я скажу «сколько у тебя», и он ответит цифрой, не оглядываясь.

— Тогда Сивков.

— Сивков, — соглашаюсь я. — Пиши: за матчасть и экипажи на старой точке до окончания перебазирования отвечает командир третьей эскадрильи.

— Второе?

— Кто принимает на новой.

— Зорин.

— Зорин, — говорю я. — И вот тут уточнение, которое ты обязательно запиши буквами, а не по смыслу. Зорин принимает и ставит на учёт. Не «командует всем, что прилетело». Если ко мне на новую точку сядет экипаж Сивкова с отказом, он остаётся за Сивковым, а Зорин ему только помогает и докладывает.

Тищенко пишет, потом поднимает голову.

— А почему так? — спрашивает он, оставляя карандаш над незаконченной строкой.

— Потому что иначе через неделю у меня будет две эскадрильи, у которых нет хозяина, а есть география, — говорю я. — Человек прилетел — и стал ничей. Вернее, стал того, у кого он на глазах. А мне надо, чтобы у каждого экипажа был один командир, а не тот, кто ближе.

— А если экипаж застрял на чужой точке на неделю?

— Тогда мы это оформляем передачей, письменно, и я об этом знаю.

— Записал.

— Третье. Как передаются изменения исправности.

Тищенко задумывается.

— По связи, двумя сводками, — говорит Тищенко. — Только мне надо закрепить, кто даст цифры, чтобы дежурные не собирали их по слухам.

— Давай закрепим: кто, кому, когда и в какой форме.

И дальше мы полчаса вырабатываем то, что потом будет висеть на стенке у обоих дежурных.

Получается так. Два раза в сутки, в восемь утра и в двадцать, обе точки передают одинаковую короткую сводку: сколько машин всего, сколько исправно, сколько в работе, сколько экипажей готово, сколько людей выбыло. Не описание, а пять цифр в одном порядке.

Отдельно — срочное: если что-то меняется резко, передаётся немедленно и одной фразой. Не «у нас тут выяснилось, что», а «шестой борт — снят, ресурс мотора».

— И вот что, — говорю я. — Цифры даёт не дежурный. Цифры даёт инженер или тот, кого он назовёт. Дежурный только передаёт.

— Почему?

— Потому что дежурный не лазал под капот. Он передаст то, что слышал. А инженер отвечает за то, что видел.

Связь мы проверяем в тот же день, и проверяет её Тимка — теперь уже не «Тимка», а старший лейтенант Журавлёв, начальник связи полка, и я стараюсь при людях называть его как положено, хотя получается через раз.

Он появляется у меня в четыре часа, с блокнотом, и вид у него довольный.

— Провели три сеанса, — говорит он. — Утренний, дневной, контрольный. Прохождение нормальное. Но есть одна штука, и она мне не нравится.

— Говори.

— На второй точке дежурит человек, которого я не учил.

— Это плохо?

— Это не плохо, это опасно, — говорит Тимка. — Он передаёт правильно, но он передаёт длинно. У него сводка в эфире звучит сорок секунд.

— А должна?

— Двенадцать, — говорит он. — Товарищ майор, сорок секунд — это когда нас начинают слушать не только свои.

С первой Тимкиной фразы у меня уходит примерно десять секунд на то, чтобы вспомнить мальчишку с разбитым лицом, который в августе сорок первого не мог перевести взгляд без двоения, и сопоставить его с этим человеком, который сейчас на меня смотрит и ждёт решения.

— Езжай и учи, — говорю я.

— Мне бы туда завтра, а сегодня у меня...

— Тимофей. Езжай завтра. Сегодня не суетись.

Инженер приходит вечером с подтверждением, которого я ждал всю неделю.

Верещагин у нас человек скупой на слова, но сегодня он позволяет себе целых две фразы подряд.

— Мастерская на новой точке разгружена полностью, — говорит он. — Первый сокращённый комплект: подъёмное приспособление, ложементы, оправки, сверлильный станок и инструмент. Стапель и второй комплект идут следующей отправкой; за ними закрепили людей. Собрано, стоит под навесом, свет проведён. Работать можно с завтрашнего утра.

— С завтрашнего или уже сегодня?

— Сегодня они грели воду и мылись, — говорит Верещагин. — Товарищ майор, они трое суток не мылись.

— Правильно.

Задачу нам дают на следующий день, и дают в том виде, в каком задачи давались всю эту осень: быстро, коротко и с недосказанностью, которая обнаружится только при работе.

«Нарушить переброски противника к рубежу реки на участке...» — и дальше квадрат.

Я читаю квадрат, и мне сразу не нравится одна вещь.

— Литвинов.

Он приходит через три минуты, с картой под мышкой. Аркадий за эти два года стал штурманом полка и заметно раздался в плечах, а левая кисть у него так и осталась полусогнутой — он ею теперь довольно ловко придерживает бумагу, но писать ею не пишет.

— Смотри квадрат, — говорю я.

Он смотрит.

— Ну? — говорю.

— Что «ну»? Квадрат как квадрат.

— Аркадий, — говорю я. — Сколько в этом квадрате мест, где можно перейти реку?

Он наклоняется ближе, водит пальцем.

И через полминуты выпрямляется с тем самым лицом, которое я у него люблю больше всего: лицом человека, который только что сам себя поймал.

— Два, — говорит он.

— Вот именно.

— Точнее, два, о которых мы знаем. Может быть три.

Дальше мы сидим над картой полтора часа, и вот что у нас получается.

В квадрате река делает петлю. На выходе из петли, где берега сходятся ближе всего и где с обеих сторон подходят дороги, есть место, которое напрашивается для военной переправы: там и немцы, судя по всему, её и держат.

А в двенадцати километрах ниже по течению, у крупного села, есть старый постоянный перевоз. Он там был всегда: паром, лодки, мелкий брод для скота. Им ходили до войны и, судя по донесениям, ходят сейчас — местные, беженцы, подводы.

Двенадцать километров — это для нас, ночью, на высоте, примерно ничего. Это около двух с половиной минут на скорости выхода.

— Что в задаче? — спрашивает Литвинов.

— В задаче — «переправа в квадрате».

— То есть какая именно, не сказано.

— Не сказано.

Мы молчим.

Я знаю, что сейчас начнётся, потому что это всегда начинается. Сейчас кто-нибудь скажет разумную вещь: у нас приказ, квадрат обозначен, переправа там одна военная, вторая — так, крестьянская, и вообще не наше дело разбираться, ночью всё равно не видно.

— Я запрошу уточнение, — говорю я.

— Это дня три, — говорит Литвинов.

— Может, и три.

— А если они нам скажут: работайте по квадрату?

— Тогда мы будем работать по тому, что сами опознаем, — говорю я. — И в донесении я напишу, что именно опознали и по каким признакам.

Литвинов кивает и начинает собирать карту.

— Аркадий.

— Что?

— Ты сейчас подумал, что я перестраховщик.

— Я подумал, что ты опять за своё, — говорит он спокойно. — И что ты прав. Это, к сожалению, у тебя часто совпадает.

Уточнение я запрашиваю в тот же вечер, а на следующий день приходит связной от передовых наблюдателей.

Он приходит пешком — последние восемь километров пешком, потому что его полуторка села в грязь, — и появляется у нас в половине девятого утра: сержант лет двадцати трёх, весь в глине по пояс, с планшетом под шинелью и с лицом человека, который спал последний раз позавчера.

Фамилия — Гапоненко.

Он передаёт донесение в штабе, коротко, как учили: военная переправа работает ночью, рывками, с двадцати трёх до четырёх; днём не работает. Гражданский перевоз у села — днём и вечером, до темноты.

Тищенко записывает, я слушаю, Литвинов делает пометы на своей карте.

— Всё? — спрашивает Тищенко.

— Всё, — говорит Гапоненко.

— Свободны.

И он идёт к двери — мокрый, грязный, шатающийся, — и вот тут я делаю то, что в этот день окажется полезнее всех наших карт.

— Сержант.

— Я.

— Ты когда ел?

Он думает.

— Вчера.

— Бабенко! — кричу я в окно. — Накорми человека! И место у огня дай, пусть сушится!

Кухня у нас за хатой, под навесом, и Бабенко — тот самый южанин, который прошёл с нами Дон и Кубань и который кормит полк уже второй год, — устраивает его в лучшее место: на чурбак у самого очага, где подсыхают дрова.

Через двадцать минут я прихожу туда с двумя кружками.

Гапоненко сидит босой, в одной гимнастёрке, сапоги и шинель висят на жердях и парят. Перед ним пустой котелок. Лицо у него стало на десять лет моложе.

— Ещё? — спрашиваю, кивая на котелок.

— Не, спасибо, товарищ майор. Больше нельзя, я потом усну.

— Ты и так уснёшь.

— Мне назад идти.

— Пойдёшь после обеда, с нашей машиной до развилки.

Он молчит, глядя в огонь, и я сажусь рядом, и мы минут пять не разговариваем вообще. Это, между прочим, самое важное в таких разговорах: не начинать сразу.

— Сержант, — говорю я потом. — Расскажи мне про эту переправу просто так. Не донесение. Просто что видел.

— Как это — просто так?

— Ну вот сидишь ты в своём наблюдении. Что перед тобой?

И он начинает рассказывать.

Сначала скованно, потом всё свободнее: как они лежат на гриве в двух с половиной километрах от реки, как у них там оборудовано, как немцы их пару раз чуть не нащупали, как холодно ночью и как тяжело не заснуть под утро.

Про саму переправу он говорит охотно, потому что она у него перед глазами третью неделю.

— Они её ночью собирают, — рассказывает он. — Не всю, а среднюю часть. Днём у них середина разведена и растащена к берегу, замаскирована.

— То есть днём её вообще нет?

— Днём её нет как моста, — говорит Гапоненко. — Днём там пусто. Ну, то есть, — он хмурится, вспоминая, — почти пусто.

Вот на этом «почти» я внутренне подбираюсь, но не тороплю.

— Почему почти?

— Ну потому что они там ремонтируются иногда, — говорит он и трёт лицо ладонями. — Вот на этой неделе, во вторник кажется... нет, в среду. У них ночью что-то оборвало, течением понесло два звена. И они потом весь день там возились. Днём. Катер ходил, люди на понтонах, машины на берегу стояли.

Я поворачиваю голову и вижу, что Литвинов, который подошёл незаметно и стоит за нами с кружкой, уже достаёт карандаш.

— Сколько времени возились?

— Часов до трёх. Может, до четырёх.

— И движение по ней было?

— Нет, движения не было. Они чинили. А вот техника на подходе стояла и ждала.

— Днём? Открыто?

— Не, — качает головой Гапоненко. — Они у них там в балочке стоят и под сетями. Но с нашей гривы видно.

Литвинов садится на корточки рядом, кладёт карту на колено.

— Сержант, — говорит он. — Это очень важно. Я вчера себе записал: «военная — ночь, гражданская — день». Ты сейчас говоришь, что днём у военной тоже может быть движение.

— Может, — говорит Гапоненко. — Когда ремонт.

— А в донесении почему не сказал?

Он смотрит на Литвинова с искренним непониманием.

— Так в донесении спрашивают, когда работает, — говорит он. — Она работает ночью. А ремонт — это ж не работа.

И вот здесь у меня в голове что-то отчётливо щёлкает.

Потому что это и есть та самая яма, в которую сваливаются все, кто строит опознание на распорядке. Мы записали себе: ночью — военная, днём — гражданская. И если бы мы завтра увидели днём движение у военной, мы бы честно подумали: раз днём — значит, гражданская.

— Аркадий, — говорю я. — Исправляй помету.

— Уже, — говорит он, и на карте появляется новая строчка. — Пишу так: «время суток признаком не является». И дальше: «ночное движение — вероятный признак военной, дневное — не признак ничего».

— Точно, — говорю я. — И вот эту формулировку неси на стол к штурманам и повторяй её, пока от неё не начнёт тошнить.

Гапоненко сидит и хлопает глазами.

— Товарищ майор, я что-то не так сказал?

— Ты сказал ровно то, что надо, — говорю я. — Сержант, ты сейчас, между прочим, сделал больше, чем твоё донесение.

— Я ж просто рассказал.

— Вот именно.

Он уходит после обеда, отоспавшись три часа на нарах, в подсохшей шинели и с сухими портянками, и Бабенко суёт ему в вещмешок хлеб и кусок сала, о чём меня никто не спрашивал и о чём я узнаю только вечером.

Штурманский стол Литвинов собирает на следующий день, и это отдельная история, потому что штурманы у нас теперь на двух точках.

Он решает её просто: сажает всех в полуторку и везёт на новую точку, потому что там мастерская, а значит, там свет, крыша и стол.

Я приезжаю к вечеру и застаю картину, которая мне нравится с порога.

В длинном сарае, где днём работает мастерская, вечером сдвинуты два верстака, накрыты брезентом и превращены в стол. На столе — карты, снимки, чей-то планшет, две лампы и еда. Едят прямо тут же: каша, хлеб, чай в жестяных кружках.

Народу человек пятнадцать: штурманы обеих групп, Зорин, Сивков, и с краю, отдельно, сидит Федя, который формально тут не нужен, а фактически нужен всегда, потому что стрелки видят то, чего не видит никто.

— Товарищ майор, — начинает вставать Зорин.

— Сидите, — говорю я и сажусь на свободный ящик. — Аркадий, продолжай. Я послушаю.

Литвинов, надо сказать, ведёт это не как урок.

Он ведёт это как разговор, в котором каждый должен рассказать своё и выслушать чужое, и я вижу, что он заранее рассадил людей вперемешку: штурман из группы Зорина рядом со штурманом из группы Сивкова.

— Значит, так, — говорит Литвинов. — Мы сегодня не учим маршрут. Маршрут каждый выучит сам. Мы сегодня отвечаем на один вопрос: как мы отличим ту переправу от этой.

— Ночью? — спрашивает кто-то.

— Ночью, — соглашается Литвинов. — Начали. Кто первый?

Первым говорит Бабичев — молодой, недавно из школы, старательный до дрожи.

— Военная — там, где река у́же, — говорит он. — И там подходят дороги с обеих сторон.

— Хорошо, — говорит Литвинов. — Ты это увидишь ночью?

— Сужение — увижу.

— А насколько оно заметное? Покажи по снимку.

Снимок кладут под лампу. Бабичев смотрит и мнётся.

— Ну... метров на триста у́же.

— Триста метров на реке в километр, — говорит Литвинов. — Ночью, с двух тысяч. Пойдёт?

— Не пойдёт, — признаёт Бабичев.

— Не пойдёт, — соглашается Литвинов. — Записывай: ширина реки признаком не является. Дальше.

Дальше говорит штурман из группы Зорина — постарше, из тех, кто пришёл к нам с Кубани.

— Дороги, — говорит он. — К военной переправе за месяц накатали новую дорогу. Она на снимке светлая и прямая. И у неё есть разъезды, вот, видите, елочкой. Это ни один крестьянин делать не будет.

— Ночью?

— Ночью светлая дорога на тёмной земле видна, — говорит он твёрдо. — Особенно после дождя, когда всё остальное блестит, а накатанное сухое. Я в прошлом месяце так на Кубани выходил.

— Принимается, — говорит Литвинов. — Пиши: новая накатанная дорога с разъездами — признак военной. Дальше.

Дальше начинается то, ради чего они и собрались.

Кто-то называет обвалование на подходах: у военной берег срыт и сделаны аппарели, у гражданской спуск как спуск, извилистый, с деревьями.

Кто-то — конструкцию: военная — ровный ряд понтонов, прямая линия поперёк реки, у гражданской ничего ровного нет вовсе, там паром и лодки, а если и есть мостик, то кривой.

Кто-то — островок: ниже по течению, у села, посередине реки лежит длинный островок с кустами, и он на любом снимке виден.

Глава 5



Федя с краю поднимает руку, как в школе.

— Товарищ капитан.

— Говори, Фёдор Данилович.

— Тень, — говорит Федя. — У понтонного моста в лунную ночь тень на воде ровная, полосой. Я такое видел на Дону. А у парома тени нету, потому что он один и он ходит.

За столом становится тихо.

— Вот это хорошая штука, — говорит Литвинов медленно. — Только она работает не всегда. Луна должна быть, и вода должна быть спокойная.

— Ну так и я про то, — говорит Федя. — Это не первый признак. Это второй.

— Именно так, — говорит Литвинов и пишет.

А потом происходит то, ради чего он весь вечер и рассаживал людей вперемешку.

Тот самый штурман с Кубани — который про дорогу — вдруг наклоняется над снимком гражданского перевоза, тянет лампу ближе и говорит:

— А это что?

— Где?

— Вот. Выше села, между перевозом и островком. Тут тёмная полоса поперёк.

Все сдвигаются.

На снимке, сделанном нашим разведчиком две недели назад, и правда видна тёмная линия, пересекающая реку — короткая, неровная, в полутора километрах выше гражданского перевоза.

— Это второй мост? — спрашивает Бабичев.

— Это не мост, — говорит Зорин. — Это, судя по всему, старая гать или остатки чего-то.

— А если ночью?

И вот тут все замолкают, потому что ответ очевиден.

Ночью, с двух тысяч метров, эта тёмная полоса поперёк реки будет выглядеть точно так же, как понтонный мост.

— Так, — говорит Литвинов. — Вот из-за этого, товарищи, мы тут сегодня и сидим.

Он берёт карандаш и обводит это место на всех картах, лежащих на столе, по очереди — а их пятнадцать.

— Всем обвести, — говорит он. — Подписать: «не цель». И запомнить наизусть: она лежит выше села и ниже нашей точки по течению на десять с половиной километров. Если вы видите поперечную полосу и не видите при этом новой дороги с разъездами — значит, вы ошиблись рекой, ошиблись местом или ошиблись всем.

— А если мы её ночью примем за нашу и сбросим?

— Тогда мы сбросим в полутора километрах от села, где живут люди, — говорит Литвинов. — При ветре и при нашем рассеивании — да, часть ляжет в село.

Молчание за столом делается плотным.

— Аркадий, — говорю я. — Дай мне.

Литвинов уступает место.

— Слушайте сюда, — говорю я. — Я скажу одну вещь, и я хочу, чтобы вы её услышали не как командир полка, а как человек, который два года подряд сбрасывает с неба тяжёлые предметы на поверхность земли.

Они смотрят.

— У нас в квадрате две переправы, — говорю я. — По одной ходят танки, по другой — бабы с мешками и дети. Ночью, с двух километров, они похожи. И у нас есть приказ, в котором написано «переправа в квадрате», то есть формально нам простят любую.

— Так может…

— Нет, — говорю я. — Не «может». Слушайте дальше. Если завтра кто-то из вас положит серию по перевозу у села, бумага может скрыть его ошибку. Может статься, в донесении будет «нанесён удар по переправе в указанном квадрате», и всё.

Я делаю паузу.

— И жить с этим он будет сам. Один. Всю оставшуюся жизнь. Я вам это не для морали говорю, а чтобы вы понимали цену: за ошибку по чужой цели с вас спросит не трибунал. С вас спросит бессонница.

Никто не отвечает.

— Поэтому мы сегодня сидим и строим признаки, — говорю я. — Не потому, что мы хорошие. Потому что нам с этим потом жить.

Расходятся они около полуночи, и к этому времени у каждого штурмана на карте, кроме собственного маршрута, лежит ещё одна вещь: причина, по которой соседняя группа появится с другой стороны.

Это, кстати, отдельная работа Литвинова, и он её делает в конце, уже устало, но делает.

— Зачем вам знать чужой заход? — говорит он. — Затем, что вы увидите в небе чужие силуэты и чужие вспышки и не должны принять их ни за противника, ни за ориентир. Группа Зорина придёт с северо-запада вдоль дороги. Мы придём с юга вдоль реки. Если вы, идя с юга, видите кого-то с северо-запада — это свои, и они уже отработали или заходят.

Сводка радиоразведки приходит через день, и приходит она к Тимке.

Он появляется у меня с ней в семь утра, и я по походке вижу, что он сейчас будет очень аккуратен.

— Товарищ майор. Из разведотдела, по установленному каналу.

— Читай.

— За последнюю неделю в районе отмечена работа радиостанций сапёрных подразделений противника. Активность неравномерная: всплески в ночные часы, с двадцати трёх до четырёх. Двадцатого зафиксирован необычный дневной всплеск, с одиннадцати до пятнадцати.

Я поднимаю голову.

— Двадцатого.

— Двадцатого, — говорит Тимка. — А теперь смотрите.

Он кладёт рядом второй лист — донесение Гапоненко, то самое, записанное Тищенкоым.

— Сержант говорил про ремонт, — говорит Тимка. — Он сказал «в среду, что-то оборвало, чинили до трёх-четырёх дня». Двадцатое — это среда.

Мы оба секунды три молчим.

— Совпало, — говорю я.

— Совпало, — соглашается Тимка. — Товарищ майор, я хочу, чтобы вы понимали, чего тут нет. Тут нет ни одного слова про мост. Разведотдел пишет: работа радиостанций сапёрных подразделений. Что они там делали — наводили, чинили или сидели на берегу и ругались, — из этого не следует.

— Понимаю.

— И ещё. — Он мнётся. — Я это не сам поймал. Я вообще не могу такое поймать, у меня нет ни людей, ни средств, и слушать чужие сапёрные станции — не моя работа.

— Тимофей, — говорю я. — Ты зачем это уточняешь?

— Затем, что в полку уже третий раз спрашивают, не слышал ли я чего-нибудь по-немецки в эфире, — говорит он с досадой. — Как будто я сижу и подслушиваю ихние разговоры. Товарищ майор, я в жизни ни одного немецкого слова в эфире не разобрал, кроме позывных.

Я смеюсь — первый раз за три дня.

— Ладно, — говорю. — Теперь по делу. Что ты хочешь предложить?

— Я хочу передать в штаб вот это, — говорит он и подаёт третий листок, уже написанный. — Сопоставление. Что сводка радиоразведки по времени совпадает с наблюдением с гривы, и что оба указывают на работу сапёров в районе первой точки, а не у села.

Я читаю. Написано сухо, в три пункта, с указанием источников и времени.

— Хорошо, — говорю я. — Отправляй. И, Журавлёв.

— Я.

— Вот эта твоя привычка писать, откуда что взялось, — самое ценное, что ты за войну приобрёл.

Он краснеет — до сих пор краснеет, при всём своём звании, — и уходит.

К дежурному на второй точке он едет в тот же день, и вечером я слышу по связи результат.

Сводка приходит в двадцать ноль-ноль.

Она звучит четырнадцать секунд.

Не двенадцать — четырнадцать, и передаёт её не Тимка, а тот самый молодой Птицын, и голос у него напряжённый до предела, как у человека, сдающего экзамен.

Но он передаёт её сам, и передаёт правильно: пять цифр в установленном порядке, без единого лишнего слова.

Тимка возвращается на нашу точку заполночь и сразу идёт ко мне.

— Ну как? — спрашиваю.

— Четырнадцать секунд, — говорит он. — Я хотел ещё остаться, посидеть с ним до утреннего.

— И?

— И не остался. — Он пожимает плечами. — Он же сам передал. Если я буду сидеть рядом, он будет передавать на меня, а не в эфир.

— Ел?

— Не успел.

— Так иди ешь.

— Иду.

И он действительно идёт есть, и это, честное слово, тоже достижение.

Курс я отменяю на следующее утро, и отменяю в неприятной ситуации: когда всё уже почти готово.

Дело вот в чём.

Наш выход на цель по первому варианту построен так: мы идём с юга вдоль реки, берём створ на характерный изгиб и от него — на переправу. Красиво, просто, штурманы это любят: река сама ведёт.

И я, глядя на это третий день, всё время испытываю какое-то неудобство, которое не могу сформулировать.

Формулирую я его во вторник, в половине седьмого утра, над кружкой чая, и от этой формулировки у меня холодеет в животе.

Ошибка в этом варианте лечится неправильно.

Если штурман опаздывает с поворотом — на две с половиной минуты, — он не промахивается мимо цели. Он приходит на двенадцать километров ниже по течению.

То есть к селу.

Я беру карту, проверяю, потом иду за Литвиновым и заставляю проверить его.

Он проверяет минут двадцать, считая на разных скоростях и с разными ветрами, и потом кладёт карандаш.

— Ты прав, — говорит он.

— Насколько?

— На минуту опоздания — около пяти километров, — говорит он. — На две с половиной — двенадцать. И это не редкая ошибка, Паша. Это самая обыкновенная ошибка при выходе на речной створ ночью: река у тебя тянется, ориентиров мало, и ты уточняешься позже, чем надо.

— То есть у нас построен маршрут, в котором нормальная ошибка ведёт точно на село.

— Да, — говорит Литвинов. — Отменяем.

— Отменяем.

Он сидит над картой ещё три часа, и к обеду у нас другой выход.

Теперь мы приходим не вдоль реки, а поперёк — с юго-запада, через сушу, и берём створ не на изгиб реки, а на два наземных ориентира: развилку дорог в шести километрах от берега и длинную лесопосадку, которая на этом безлесном месте видна и ночью.

— Плюсы, — говорит Литвинов. — Ошибка в створе даёт уход вбок, а не вдоль. То есть мы промажем мимо цели в чистое поле, а не в село.

— Минусы?

— Минусы тоже есть, — говорит он честно. — Выход на цель короче, у тебя меньше времени на опознание. Секунд сорок вместо двух минут.

— Сорок секунд на две независимых приметы?

— Если приметы правильные — хватит, — говорит он. — Дорога с разъездами видна сразу, она большая. Конструкция — на подходе. Если за сорок секунд не сложилось — уходишь и заходишь второй раз с той же стороны.

— Или уходишь совсем.

— Или уходишь совсем, — соглашается он. — Вот это, кстати, надо в план записать отдельной строкой. Чтобы человек знал, что он имеет право.

Мы записываем.

А отмена курса приносит побочный результат, о котором никто не подумал: у части экипажей освобождается день.

Потому что подготовка по старому варианту была расписана на сегодня, а по новому Литвинов даст листы только завтра.

Люди, у которых внезапно образовался свободный день перед боевой работой, — это, между прочим, серьёзная проблема. Они начинают либо спать сверх меры и делаться вялыми, либо слоняться и накручивать себя.

Я собираю их и отправляю в мастерскую.

Не на работу — к механикам, со своим имуществом.

— Задача такая, — говорю я. — У каждого есть вещи, которые в полёте мешают, и вы про них знаете, но чинить их некогда. Сегодня некогда не будет. Идите и чините.

Через два часа мастерская выглядит как ярмарка.

Штурманы раскладывают планшеты и перекладывают карты, потому что у половины они сложены так, что нужный лист достаётся третьим. Механики дают им резинки, тесьму и куски целлулоида. Литвинов ходит между ними и показывает свой способ укладки — он его выработал ещё в сорок первом, когда не мог работать левой рукой и придумал систему, при которой всё делается одной.

Стрелки во главе с Федей разбираются с креплениями: у двоих ремни подогнаны так, что на развороте их тянет.

А в углу происходит история с замком.

Это замок на крышке выходного люка заднего отсека одного из бортов, и он несколько недель закрывается плохо: надо ударить ладонью, и тогда защёлкивается.

Стрелок этого борта, сержант Малько, несколько недель стучал по нему ладонью и считал это нормальным.

— Покажи, — говорит ему Федя.

Малько показывает.

Федя смотрит, потом лезет и смотрит изнутри, потом зовёт механика, и втроём они возятся минут сорок.

Оказывается, там погнута скоба — давно, ещё, наверное, при ремонте после Кубани, — и защёлка садится с перекосом.

Механик правит скобу, ставит на место, пробует.

Замок закрывается от лёгкого нажатия.

— Вот, — говорит Федя. — А теперь подумай, Малько, что будет, если после аварийной посадки тебе понадобится открыть его одним движением, а перекошенная защёлка не поддастся. Сейчас она плохо закрывается — в другой нагрузке может плохо открыться.

— Да я привык.

— Ты привык, — говорит Федя. — А сменщик твой не привык. Он бы полез, стукнул раз, не закрылось, и он бы решил, что заклинило.

Я слушаю это, стоя в дверях, и думаю, что у нас в полку теперь есть человек, который делает то, чего я сам не умею: разговаривает со стрелками на их языке и про их мелочи.

К вечеру под навесом у мастерской натянуты верёвки, и на них сохнет бельё.

Это, если разобраться, самое мирное зрелище на всём аэродроме: тридцать пар подштанников и рубах, парящих на осеннем ветру, и рядом — Ил-4 под маскировочной сетью.

— Товарищ майор, — говорит мне Зорин, подойдя. — Вы понимаете, что мы сейчас делаем?

— Что?

— Мы сутки перед вылетом потратили на стирку и на замок.

— И что?

— Да ничего, — говорит он. — Я просто помню, как в сорок первом мы перед вылетом двое суток бегали и орали.

— Помнишь?

— Я тогда считал, что так и надо, — говорит Зорин. — Что если не бегаешь, значит, не готовишься.

Занятие по отказу от сброса Литвинов ставит на следующее утро, и ставит его так, что я сначала не понимаю замысла.

Он раздаёт экипажам карточки.

На каждой карточке — не задача, а набор признаков. Неполный. У кого-то там дорога и конструкция; у кого-то — только тень; у кого-то — река, дорога и время суток; у кого-то — вообще ничего, кроме поперечной полосы.

— Читайте, — говорит Литвинов. — И решайте: цель или не цель.

Экипажи читают.

Дальше по очереди.

Первый: «дорога с разъездами, ровная линия понтонов». — Цель.

— Почему? — спрашивает Литвинов.

— Два независимых признака.

— Верно. Следующий.

Второй: «ровная линия поперёк реки, тени нет, луны нет, дорога не просматривается».

— Не цель, — говорит командир экипажа.

— Почему не цель? — спрашивает Литвинов. — Ровная линия ведь есть.

— Одна, — говорит тот. — Одна не считается.

— Верно.

И так они идут — пока очередь не доходит до Бабичева.

У Бабичева на карточке написано: «поперечная тёмная полоса, огни на берегу, движение не наблюдается, дорога слабо просматривается, ширина реки меньше, чем выше по течению».

Бабичев читает. Потом смотрит на Литвинова.

Смотрит долго.

И я вижу, что происходит: он не признаки разбирает. Он смотрит на лицо Литвинова и пытается угадать по выражению, какого ответа от него ждут.

— Цель? — говорит он с вопросительной интонацией.

Литвинов молчит.

— Не цель, — говорит Бабичев.

Литвинов продолжает молчать.

— Товарищ капитан, ну вы скажите, там же...

— Лейтенант Бабичев, — говорит Литвинов спокойно. — Посмотри на меня ещё раз.

Бабичев смотрит.

— Я не подсказываю, — говорит Литвинов. — И над целью я тебе тоже подсказывать не буду, потому что меня там не будет, а если и буду, то в другой машине и с другими заботами. Читай карточку и отвечай по ней.

Бабичев читает ещё раз. Лицо у него постепенно меняется — он перестаёт коситься на Литвинова и начинает шевелить губами.

— Тут нету признаков, — говорит он наконец.

— Каких?

— Никаких из наших. Дорога слабо, огни ничего не значат, ширина не признак, движения нет. Полоса одна.

— И?

— И я не знаю, что это.

— Вот, — говорит Литвинов. — Скажи это целиком.

— Не опознано, — говорит Бабичев.

— Правильно, — говорит Литвинов. — Садись.

Бабичев опускается на лавку и ещё раз читает карточку — теперь уже не ищет подсказки в лице штурмана.

Дальше начинается вторая часть занятия, и она мне нравится ещё больше.

— Хорошо, — говорит Литвинов. — Ты сказал «не опознано». Теперь: что ты делаешь дальше? У тебя под брюхом полторы тонны.

— Ухожу.

— Куда?

— Ну... домой.

— С бомбами?

Бабичев мнётся.

— Отвечайте все, — говорит Литвинов, обращаясь к залу. — Что делаем с нагрузкой при отказе от сброса.

Начинается разнобой.

Один говорит — везти домой. Другой — сбросить в реку. Третий — на запасную цель.

— Стоп, — говорит Литвинов. — По порядку. Запасная цель есть?

— Есть, — говорит Зорин. — Но она в приказе названа, и она не гражданская переправа. Гражданская переправа не является запасной целью ни при каких условиях. Это, кстати, товарищ майор велел записать отдельно.

— Велел, — подтверждаю я. — И повторяю при всех: если вы не опознали военную, вы не идёте на село. Никогда. Ни как на «хоть что-то».

— Второе, — продолжает Литвинов. — Если запасная недоступна — топливо, погода, повреждение. Тогда район аварийного сброса, он указан в листах: излучина в семи километрах северо-восточнее, там нет жилья, я лично проверял по двум картам и по снимку.

— А просто домой с бомбами? — спрашивает кто-то.

— Можно, — говорит Литвинов. — Но по условиям: если замки исправны и если командир доложил и получил разрешение на посадку с нагрузкой. Не самовольно.

— А если замки неисправны?

— При отказе рабочего сброса пробуешь предусмотренный аварийный в назначенном районе. Если нагрузка не уходит и им, сообщаешь земле, выполняешь особый порядок посадки; приказ не заставит неисправный замок открыться.

Глава 6



Всё это они записывают в свои листы, и я смотрю на эти пятнадцать склонённых голов и думаю, что два года назад такая процедура показалась бы всем нам, включая меня, вредной блажью.

Третья часть занятия — самая короткая и самая полезная.

— Теперь, — говорит Литвинов, — отрабатываем доклад.

— Какой доклад?

— Об отказе от сброса. — Он оглядывает зал. — Товарищи, я вас знаю. Вы сейчас над целью не сбросите, потому что правильно не опознаете. А потом полтора часа будете лететь домой и сочинять, как вы это объясните. И на земле начнёте с длинного рассказа, какие вы молодцы, что не сбросили.

По залу проходит смешок — узнают себя.

— Так вот, — говорит Литвинов. — Доклад звучит так: «Цель не опознана, сброс не производил, нагрузку — так-то». И всё. Оправдываться не надо. Кто хочет — потом на разборе объяснит подробно.

— А если спросят «почему»?

— Тогда ответишь: «Не было второго признака». Тоже всё.

— Повторим, — говорит Литвинов. — Зорин.

Зорин, командир эскадрильи, кавалер и вообще человек, у которого за спиной полторы сотни вылетов, послушно встаёт и говорит:

— Цель не опознана, сброс не производил, груз в районе сброса.

— Сивков.

Сивков повторяет.

Потом по очереди все.

— Товарищ майор, — говорит Литвинов последним. — Вы тоже.

В зале становится тихо.

Я встаю.

Я, вообще говоря, мог бы этого не делать. И все в зале это знают, и половина из них ожидает, что я сейчас как-нибудь вежливо отшучусь, потому что командир полка не должен отчитываться перед строем в учебной формуле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.